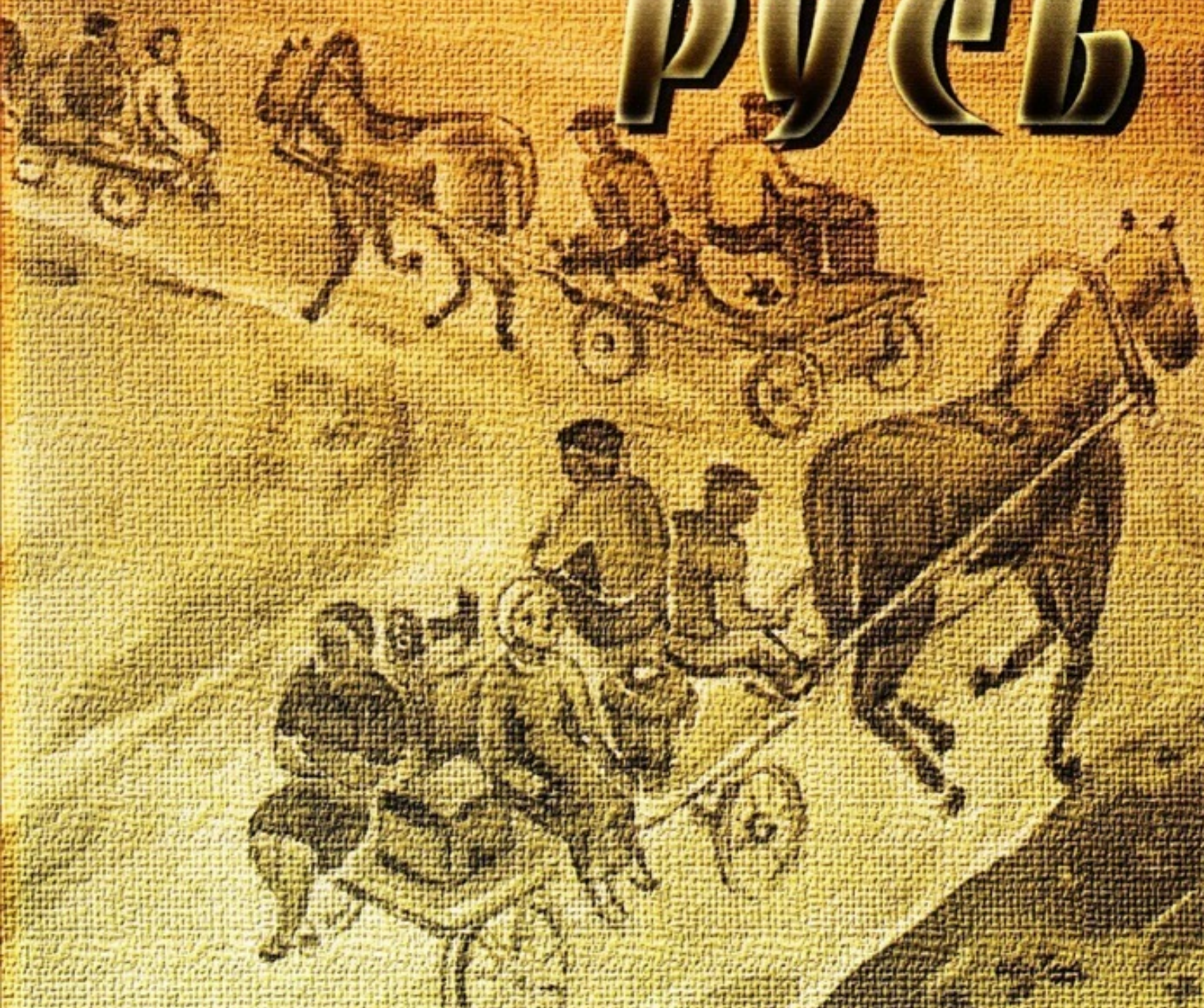


Владимир ВЛАДЫКИН

БЕГЛАЯ РУСЬ



Владимир Владыкин

Беглая Русь

«Издательские решения»

Владыкин В. А.

Беглая Русь / В. А. Владыкин — «Издательские решения»,

В остросоциальном романе В. А. Владыкина «Беглая Русь» действие охватывает конец 1934 года и начало Великой Отечественной войны. В романе разворачиваются драматические события, когда в условиях колхозного строя, чтобы спастись от голода, люди выживали любой ценой. Они семьями уезжали на Нижний Дон: одни от голода, другие — в поисках свободных земель, третьи от репрессий. Это были годы, когда ломались тысячелетние устои русского села, что позже привело к его вымиранию...

© Владыкин В. А.

© Издательские решения

Содержание

О романе В. А. Владыкина «Беглая Русь»	6
Книга первая	9
Часть первая	10
Глава 1	10
Глава 2	13
Глава 3	17
Глава 4	22
Глава 5	27
Глава 6	30
Глава 7	40
Глава 8	47
Глава 9	51
Часть вторая	59
Глава 10	59
Глава 11	65
Глава 12	67
Глава 13	71
Глава 14	78
Глава 15	86
Глава 16	89
Глава 17	93
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Беглая Русь
Роман в двух книгах. Хроника
народной жизни (1934—1941)
Владимир Аполлонович Владыкин

© Владимир Аполлонович Владыкин, 2016

© М. Э. Багдасарян, дизайн обложки, 2016

© Александр Владимирович Коньков, иллюстрации, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

О романе В. А. Владыкина «Беглая Русь»

Художественное достоинство романа «Беглая Русь», на мой взгляд, неоспоримо. Наверное, это одно из главных его качеств, а второе, что подкупает – искренность автора, ему веришь, что вовсе не он ведёт своих героев, а герои действуют независимо от воли автора. И это ещё раз доказывает, что у талантливого писателя не может быть иначе, таковы уж законы творчества и читатель с неослабеваемым интересом следует за ними, характеры которых с художественной достоверностью раскрываются страница за страницей. Они увлекают своей правдивостью и неповторимостью во всей жизненной правде. Причём сразу видно, что они не выдуманы, а взяты из гущи народной жизни. Отношения героев строятся на конфликте власти и народа, их взаимоотношения поставлены в такие ситуации, которые вызваны социально-политическими установками того далёкого и непростого времени. Уже название романа говорит, что в условиях колхозного строя, люди были вынуждены срываться со своих корней и уезжать куда глаза глядят...

Ещё одно достоинство романа – это познавательный момент в изучении истории России. Всё, что происходило тогда, всё что скрывалось и умалчивалось при тоталитарном режиме, раскрывается на страницах романа с убедительной художественной силой и подтверждение тому, как глубоко переживают герои. Вот хотя бы Екатерина Зябликова, за незаконно репрессированного брата Егора Мартунина не перестаёт печалиться, правда, о его судьбе проникновенно рассказано в предыдущем романе «Пуценные по миру».

Её муж, Фёдор Савельевич, приезжает на родину, чтобы продать избу. Но пожив в родной деревне, он убеждается, что в своё время поспешил покинуть родовые корни. Земляки выстояли голод, и они как-нибудь тоже переждали бы трудную пору, но вербовщик, посуливший молочные реки и кисельные берега, сумел увлечь за собой на юг, где якобы их ждало много свободной земли. И не только семья Зябликовых поддавалась соблазнам вербовщика, ему поверили сотни людей. Никакого земельного изобилия, конечно, не было и там, просто в степи переселенцы были вынуждены построить посёлок. На Дон уезжали не только от голода, но и от преследования властей, раскулачивания и самораскулачивания. Это семьи Старумовых, Полосухиных, Жерновых, Пироговых, Путилиных. Глаукиных и многих-многих других, которые бежали на Дон, и в другие глухие таёжные места от угрозы высылки.

Для понимания главной идеи романа также много говорят читателю сны старого мудрого человека Романа Захаровича Климова, который был равнодушен к тому, что происходило вокруг в то сложное и жестокое время.

Удивительная сила духа людей, которые ещё способны шутить в непростой ситуации, добровольно отправившихся в изгнание, чтобы не быть сосланными в Сибирь и на Соловки. Автор так мастерски строит образы героев и выстраивает их действия, что читатель сочувствует даже тем, кто занимается кражей зерна из колхоза, несмотря на все строгости закона. Автор так ярко воссоздаёт атмосферу того времени, что прекрасно понимаешь, что их заставило пойти на воровство та обида и то недовольство на советскую власть, которая своими директивами и постановлениями ужесточала наказания за самую ничтожную кражу зерна. Но люди, несмотря ни на что, сознательно были вынуждены идти на нарушение заповедей Христа...

Автор очень живописно описывает любовные отношения молодых людей, их ухаживания, строит конфликты, любовные сцены. Их стремление к нормальным человеческим условиям, вызывает только сочувствие и сострадание. А какие тогда звучали бойкие и задорные частушки даже в самые тяжёлые дни, когда голод кружил над крышами переселенцев, словно чёрными птицами. Все эти трагические реалии позволили создать автору правдивые картины того времени. Всё так живо описано, что происходящее со страниц видится как на экране

кино. Вот хотя бы такая сцена: «...В этот момент снова беспечно и заливисто заиграла гармошка, призыв которой к веселью и танцам, песням и частушкам был таким настёрным, что Зина начала на месте притопывать каблучками туфель, при этом строя Давыду глазки. И откуда-то сбоку зазвенел задорный девичий напев: «Хороши, ой, да хороши, у милого глазёнки! А его сердце трепещет по моей сестрёнке!..»

Зина, разумеется, узнала, кому принадлежал этот озорно как бы взвивавшийся ввысь и плавно опадавший припевками голос, и она быстро оглянулась и сквозь разгоревшееся, высоко взметнувшееся пламя костра увидела направленный на неё весёлый взор сестры Капы...». И дальнейшее повествование так увлекает, что очень проникновенно и живо ощущается дыхание той далёкой эпохи, которая воспринимается читателем естественно и просто, так как изображена уверенной рукой мастера, и удерживает до конца внимание читателя, что нынче встречается нечасто у авторов даже современной серьёзной прозы. Владыкин увлекает читателя психологически точным и правдивым изображением массовых, бытовых и семейных сцен...

При чтении романа невольно приходят такие мысли. Все ли теперешние сельские из молодёжи (не говоря о городских) умеют выполнять домашнюю работу: заквасить тесто для выпечки хлеба, полоть в огороде любую культуру, доить корову, уметь кроить и шить? Автор правдиво описывает то, как складывались отношения к тем детям, чьи родители считались врагами народа, несмотря на то что многие были осуждены по ложным обвинениям.

Одну из сцен невозможно забыть, когда Дрон Овечкин наглядно при всех в клубе избил сына бывшего председателя колхоза Жернова, осуждённого за крупное хищение зерна. Сам он этим не занимался, но с его молчаливого позволения это делал кладовщик и сторож в одном лице Иван Наумович Староумов, который делил свои кражи с председателем. Но зерно принимал не он, а его жена Марфа.

Надо заметить, Дрон Овечкин избил Алёшу Жернова и как сына врага народа, и как своего соперника. Но Алёша не озлобился, не ожесточился на обидчика и на весь мир, а достойно пережил это оскорбление. В произведении много таких явлений, как приспособленчество, социальная мимикрия, которые не утратили своего значения и в наши дни, особенно это полезно знать подросткам, юношам и всем, кто интересуется социальными типами и психологией поведения.

Роман «Беглая Русь» населен самыми разноречивыми характерами со своей моралью и нравственностью, в своей массе народ испытывал жалость к тем, кто был невинно осуждён по ложным обвинениям, когда с приходом насильственной коллективизации наступила расплата для всех тех, кто посмел пойти против общего течения. На фоне суровой действительности автор правдиво описывает то, как строятся самые разные отношения между людьми, и невольно думаешь о том, какой сильный наш русский народ, способный выживать в нечеловеческих условиях и способен любить и радоваться, печалиться и сострадать...

А самое главное, что бесконечно радует и привязывает к этим героям – их яркие неповторимые образы. Они видятся добропорядочными и хозяйственными, что среди них не сразу различишь проходимцев и негодяев, которые ради своего благополучия готовы, так сказать, съесть другого. Вот хотя бы Иван Староумов, который по-своему мстит советской власти за то, что отняла у него все: и дом, и хозяйство. А Марфа Жернова была принуждена шпионить за всеми жителями и в том числе за действиями своего мужа Павла Жернова вовсе не по зову сердца, а под давлением сельского чиновника, который когда-то был сотрудником НКВД, и по приказу своего бывшего начальника создаёт агентурную сеть, чтобы доглядывать за колхозниками. То же самое делал и Макар Костылёв. Большинство персонажей погружены в колхозный труд и заботу о своих семьях. Но и среди них кто-то хитрит и лукавит, кто-то с деловой хваткой и командным тоном в обхождении, но не от злого умысла, а чтобы

выживать. Я не буду анализировать характеры героев, а лишь скажу, что все они живут бок о бок, трудятся не покладая рук, мечтают о лучшей жизни впереди.

Автор мастерски показал народ в своём многообразии, удались образы многих женщин. А такая порочная как Алина Ермилова встречается и в сегодняшней жизни. Она любит красиво одеваться, сама шьёт для себя наряды, следит за модой. Главный её недостаток – это стремление к смене мужчин, образ Алины очень перекликается с сегодняшним днём, ведь появилось немало таких женщин, которые нисколько не озабочены обзаведением семьей, а только бы гуляли, шиковали. Раньше хоть для себя рожали детей, а теперь такие встречаются очень редко. Однако Алина, нагулявшись вволю, к концу первой части романа выходит замуж, во второй – уже не появляется и сюжет развивается в том направлении, что полностью оправдывает название романа «Беглая Русь». Новый поток беженцев появляется в посёлке, где они надолго находят для себя приют и дальнейшие отношения в романе распределены между ними...

Когда-то я делал графические и наброски многих для меня интересных людей, целые типажи. И прочитав этот замечательный роман, я с ещё большим интересом возобновил работу именно над портретами. И стал особо уделять внимание пейзажу, так как в романе автор превосходно использует его для характеристики не только места действия, но и добивается зрительного его представления, и через пейзаж показывает переживания героев, их духовный мир.

На одной из страниц романа автор просит у читателя прощения за пространные описания степных просторов и, мне думается, совершенно напрасно, так как описание донской природы в разные времена года сделаны так мастерски, что они не могут не доставлять читателям эстетического удовольствия. Вот к примеру одно из ярких описаний таких просторов, которое даёт возможность представить всю степную картину: «...Это поле как раз начиналось от самой кромки, довольно просторной развалистой балки, которая вытягивалась с юга на север извилистым широченным, а в некоторых местах и узким руслом, похожим почти на горное отвесное ущелье. По её равнинному дну протекал прозрачный студёный ручей, поросший камышом и осокой...».

Далее автор применяет сравнение, построенное на контрасте красоты этого края весной и поздним летом, но чтобы увидеть пейзаж с поразительной зримостью, надо прочитать описание природы полностью: «По весне, когда зелёный мир свеж и сочен, когда вся природа дымитесь всходами трав и молодыми побегами озимых, тогда степь особенно зазывно, как юная девушка, чарует глаз путника. Но совсем иное впечатление она производит в августе, изрядно опалённая солнечным зноем, вся серая, пыльная, как нищенка-оборванка, вызывающая к себе только жалость и сочувствие...». И вообще образы человеческой печали присутствуют на многих страницах романа, что в условиях тоталитарной системы было присуще тому времени.

И вспомнилось высказывание древних, что нельзя сострадать, не печалься благодаря этому, смею даже полагать, сильному произведению, в котором с художественной убедительностью изложены исторические события, правдоподобно и достоверно не описан, а воссоздан сложный жизненный процесс. Своё послесловие хочу закончить таким признанием. Когда иллюстрировал первую книгу, я с новой силой ощутил вкус к живописи и графике. И вторую книгу иллюстрировал, надеясь в своих работах хотя бы частично передать дух романа. И как они получились, оценивать читателю, который, думаю, без преувеличений, тоже почувствует, что этот поистине эпический роман о народной жизни написан сложившимся мастером слова и станет заметным явлением в современной литературе...

Художник А. В. Коньков

Книга первая Ночные жители



Часть первая

Глава 1

Сколько же было нечеловеческих усилий необходимо затратить народу, который собрался в чистом поле не по своей воле, чтобы как-нибудь обжиться на этой сирой и чужой для них земле; сколько нужно было набраться терпения, чтобы выстоять и осилить полуголодное и полухолодное существование, да и все другие лишения. И земля, как бы понимая их благие намерения, охотно давалась обиходить себя да обстроиться в степи, чтобы всё тут выглядело ухоженным их неослабным, старательным трудом.

Всё лето и часть погожей осени, прилагая всё усилие и умение, люди, как могли, строили хаты. И по обе стороны балки в первый год основания посёлка стояло их уже на одной пять, на другой шесть, крытых то чаканом, то соломой, а у кого-то во дворах разместились даже сараи, курники, а то и летние кухни. И ещё совсем недавно голая, безжизненная степь принимала обживаемый вид.

А между тем для переселенцев уже истекал самый трудный год; незаметно балками, полями, оврагами кралось предзимье. Кряду две недели выдалось холодное осеннее ненастье, а потом чаще стал захаживать морозец, покрывая пожухлые склоны балок, крыши хат и сараев заиндевелым налётом куржака, похожим на крупнозернистые россыпи соли. Утра выдавались солнечными, вдали над балками застаивался туман, а к обеду солнечные лучи съедали иней и кругом становилось влажно и сыро; и как-то острей пахло прохладой. Но вот пришёл заморозок в пасмурный день и уже держался почти целые сутки. Серое небо не просвечивал ни один солнечный луч, и от этого степь казалась мрачной и унылой, как на веки вечные забытая Богом нищенка-оборванка.

По утрам и вечерам над землянками, над хатами, вились серо-голубые дымы то запахом перегорелого кизяка, то запахом непривычного для переселенцев каменного угля, издавна считавшегося на юге основным видом топлива. Потому некоторые просто боялись им топить печи, так как на своей далёкой родине многие из них отапливали избы исключительно дровами. Однако надвигались неумолимые холода, сея страх и отчаяние, а кто сумел прикупить угля, тот мог вполне бесстрашно встречать зиму. Впрочем, и остальные тоже следовали примерам своих земляков, поскольку одними дровами, соломой, бурьяном и хворостом долго не протянешь. Да и всего этого топлива здесь не напасёшься, а без угля тут можно совсем околеть; вот и выходило, что не так страшны были морозы, как холодные сильные ветры, дувшие порой кряду несколько дней...

Например, Староумовы, Полосухины, Костылёвы, Пироговы, Чесаноновы, Половинкины, Зябликовы и другие, кто одними из первых разными путями приехал на Донщину, уже не раз ездили за город на станцию Хотунок и за день оттуда привозили угля по несколько бричек...

Как раз в ту осень, в ноябре, Фёдор Зябликов ездил на родину в Калужскую область продавать избу да заодно посмотреть на жизнь земляков. Он не раз прогулялся по всей деревне из конца в конец; почти все избы остались при своих, прежних хозяевах, и ничего тут сильно не переменялось. Только брошенные подворья умерших, да их, Зябликовых, без хозяйского догляда пошли в запустенье и попёр дуром чертополох, хотя поздней осенью он уже засох. Их приусадебный надел, который за годы колхозного жалкого существования хоть как-то ещё кормил семью, тоже зарос бурьяном, а из-под фундамента избы торчали будылья лопухов...

Ещё не продавая избы, оставаясь в ней пока временным жильцом, Фёдор почувствовал такую неизбывную тоску по семье, что не удержался и в первую же ночь написал жене

Екатерине о том, как тут без них текла жизнь. После их отъезда из деревни уехали ещё несколько семей. А те две или три семьи, что уезжали раньше них, Зябликовых, вскоре вернулись и больше никуда не трогались с места даже в самые страшные голодные месяцы, когда уже почти было нечего есть. Но вот чудом перемогли, выжили, и все прежние тяготы остались позади. Хотя полного продовольственного облегчения, увы, не наступило, несмотря на то что в колхозе появилось два трактора, один комбайн, новые сеялки, веятельные агрегаты. С хлебом к осени стало немного полегче, до следующего урожая на едока выдали почти по два центнера, да и со своего приусадебного огорода накопили по несколько мешков картошки. А кого-то выручали свои коровы, так что худо-бедно надвинувшийся было всей костлявой грудью голод перемогли, перебороли.

И не без зависти наблюдая неспешную жизнь земляков, Фёдор неожиданно поманилось вернуть семью назад, так как теперь ему стало ясно, что тогда, поддавшись собственной панике и заманчивым посулам вербовщика, он допустил непростительную ошибку. А когда некоторые односельчане и председатель Уваров уговаривали его вернуться к своим корням, он осознал это ещё больше. И только теперь со всею полнотой он постиг ту истину, что родину ничто не заменит, и он настолько глубоко проникся этим смыслом, что было совсем поддался уговорам земляков, и был готов вернуть семью на родину. Но тут вдруг вспомнил, что там, в чужой земле, покоится его мать, которая ещё при жизни простила оступившегося сына и потому он не должен её бросать, это приравнялось бы к предательству. И как никогда Фёдор невольно загрустил, задумался. Когда деревенские мужики – Иван Макаров, Силантий Пантюхов – узнали о его утрате, они только посочувствовали, но не осудили, что в далёком краю обрёл старую мать на такую горькую участь. Но и бывшие приятели тоже поведали, как по их селу свирепой косой прошёлся голод и унёс несколько дряхлых стариков и даже детей, но остальные, слава Богу, выжили и теперь здравствуют.

В Кухтинке Фёдор погостевал недолго – часа два; проведal Епифана, который всё так же, как и раньше, работал лесником; навестил Настю с её повзрослевшими дочерьми и единственным сыном, родившимся уже после ареста мужа. От неё узнал, что их председателя сельсовета Антипа Бедина арестовали якобы за утаивание недоимщиков. Он также проведal и Нюту с мужем Ерофеем с их тремя детьми. Муж Нюты в колхозе всё так же плотничал и потихоньку дома, столярничая, выполнял заказы людям. И жизнь для них шла счастливо, но с Ерофеем Фёдор никогда ни о чём не беседовал, тот был всегда как-то таинственно молчалив, точно знал нечто такое, чего другим знать не положено. А вообще, он был по натуре такой: политики не касался, жил тихо, никого никогда не задевал. И даже ни с кем не выпивал. Впрочем, Фёдор тоже не жаловал зелье. Нюту он плохо знал, ему просто хотелось посмотреть, как живёт старшая сестра его жены, чем и выполнил наказ Екатирины. Её сестра была мастерица по вышивальному делу и передала жене несколько накидок на подушки с выбитыми на них затейливыми узорами. А Фёдору, пришедшему к ним с пустыми руками, было неловко принять такой роскошный подарок...

И он, пригласив приехать к ним, на Дон, в гости, скоро попрощался; и уходил с мыслью, что Ерофей с Нютой, как и все тут, перемогли трудные времена. Получалось, только он, Фёдор, струсил, покинул родную избу. И теперь находился в Аргуново гостем, а в избе от их прежней жизни не осталось и следа, и он почувствовал какую-то особенную щемящую боль, что теперь им здесь уже никогда не жить, а изба перейдёт навсегда к чужим. Он только довольствовался тем, что познакомился с жизнью земляков, и она вызвала из памяти прошлое, по которому вдруг неутешно заныла душа, отчего даже хотелось заплакать, чего раньше с ним никогда не случалось... И он не знал, что изба, срубленная его руками, простоит ещё не один десяток лет, а его самого будут помнить только соседи да родственники жены...

В конце письма Фёдор написал Екатерине о её брате Егоре, который в самом начале своего лагерного заключения прислал жене Насте по оказии два скудных сообщения, что сослан

аж за Полярный круг, что пока жив, и больше от него не получила ни одной весточки, однако, несмотря ни на что, она терпеливо продолжала ждать мужа...

Конечно, о своих чувствах он не писал жене, и никак не мог понять: почему он так легко погнался за хлебной приманкой вербовщика? Спустя несколько месяцев, когда голод уже не угрожал и, наверное, совсем отступил, легко было недоумевать, а тогда во имя спасения своих детей жили в постоянном страхе...

Напоследок Фёдор всё же приписал свои сомнения: не ошибочно ли они осели на юге по воле вербовщика? И будто напрочь забыв о похороненной матери на тамошнем городском кладбище, он опять недоумливал жену: а почему бы им и впрямь не вернуться в родную деревню. И она, Екатерина, там должна без него с детьми одна собраться в обратную дорогу, а он будет тут её ждать, чтобы и ему не тратиться на обратную дорогу. Но сначала должна была письмом уведомить, как она посмотрит на его предложение. И он отнёс письмо в сельсовет. Председатель Пётр Иванович Наметов встретил его радушно, расспросил, как там, на Дону, живётся им. Фёдор как мог обрисовал картину, но так, чтобы у Наметова не сложилось мнение, будто он действительно жалеет о своём поступке, променяв родную деревню на чужбину, где ничем не лучше, чем здесь. Конечно, на юге живётся неплохо, хату своими силами поставили, скоро обзаведутся своим хозяйством. И тут, под влиянием участия Наметова, он проговорился, что вопреки всему тянет его родина своими путами; и Наметов, бодро подмигнув, поощрительно поддакнул, дескать, правильно, всегда так тебе говорил и вот оказался прав...

Получив письмо от мужа, Екатерина расстроилась, собрала детей на совет: Нина и Денис к задумке отца – вернуться домой – отнеслись крайне враждебно. Они вовсе не намерены уезжать из тёплого края, уже привыкли здесь ходить в школу. И Екатерина, несмотря на описание мужа того, как бедственно жили её сестра Нюта, брат Епифан, невестка Настя и все земляки, приняла мнение детей. Заручившись их твёрдой поддержкой, так прямо и написала: теперь нечего мотаться взад-вперёд. Да ещё так хотелось строго отчитать Фёдора, такого всегда идейного и вдруг проявившего не похожее на него малодушие. Хотя в душе понимала, что мужа не отпускает родина, он почувствовал неистребимый зов предков. Это ему наказание за то, что не понимал свою мать, которая ни в какую не хотела покидать родную землю. На что она, Екатерина, так далеко от родины, но тоже чувствует её даже на расстоянии. Ведь нигде невозможно скрыться от воспоминаний, так как в памяти сохраняется почти вся их прежняя жизнь. Но ради детей, желающих жить на юге, она одолеет все сомнения и будет поддерживать лишь письмами духовные узы с родными, уж с ними даже насильно невозможно порвать связь. А тут она окунулась в новые, обступившие со всех сторон, заботы, и не одними домашними делами, но и работой в колхозной огородной бригаде. А сколько забот уходило на Нину и Дениса, учившихся пока в городской школе, куда часто наезжала проводить их. Однако, когда читала письмо Фёдора, Екатерину неожиданно взволновало предложение мужа. В тот момент она чуть было не вышла из себя: ты, дескать, тут с детьми собирайся в дорожку, а он там подготовится к их встрече?! Вот уж на кого-на кого, а на Фёдора это было совсем не похоже, точно бес водил его рукой, а не он писал. Она должна собрать багаж, для которого нужна мужская сила, а потом грузить весь скарб в багажный вагон на станции? Хорошее дело навязывал слабой женщине! Вот тут она отказывалась понимать мужа, ведь не она, а он, Фёдор, был зачинщиком отъезда в чужие края. И почему же вдруг заблажил вернуться? Но это ей совсем было непонятно. Неужели на Фёдора так сильно повлиял Намётов, что напрочь забыл, как ещё в её бытность председателем колхоза муж ревновал её к нему, председателю сельсовета? Хотя в день отъезда на родину мужа, когда сел в вагон, у неё почему-то тоже возникали такие же думки. Но не о Наметове же она тогда думала, который иногда выручал её, когда секретарь райкома Снегов обвинял её во всех грехах, какие на неё сваливались из-за увиливания от работы некоторых колхозников, которые хотели только числиться и чтобы начальство их не трогало. А ведь тогда нелегко налаживалась колхозная жизнь, которая для односельчан была не при-

вычна. И вот теперь ей не хотелось снова там пережить тот страх, когда Снегов грозился отдать её под суд за то, что на лугах осталось не убранное сено. И она большим усилием воли подавила в себе сиюминутное желание, чтобы вместе с мужем уехать с детьми на родину, несмотря на то, что тоска по дому порой была невыносимой. Однако вскоре жалость к детям, которые грезили югом, возобладала; она полностью смирилась со своей участью и долей семьи. Это было как бы спасением от всего пережитого на родине, которое под влиянием воспоминания вновь поднялось в ней. Она написала мужу, чтобы там долго не маялся, а то привяжет тоска к родной избе неразрывными узами, и тогда даже разлуке (с ней и детьми) не справиться с этим чувством, выворачивавшим душу наизнанку, что и впрямь потом добирайся с детьми домой сама, вопреки их желанию остаться здесь жить.

Но этого не произошло. Она, при внешнем спокойствии, никогда по-настоящему не умела сердиться. Хотелось ли Екатерине на самом деле уговорить детей на обратную дорогу, она толком не знала, поскольку свои чувства постоянно сверяла с высказываниями детей. «Не хотим возвращаться! Там нам делать нечего!» – говорили на перебой младшие Боря и Витя. Для неё они стали точно духовными и идейными поводырями. Да и хата, построенная и обмазанная глиной её руками, уже впитала в себя частичку её души, и как бы молчаливо удерживала хозяйку, привязав к себе накрепко, и словно тоже умоляла больше никуда не уезжать. И зачем теперь гоняться за счастьем, коли хата и есть отныне их тутошний корень, пущенный ими, наверное, навсегда: с него детям и вести новую родословную. Да и могила све-крови для них теперь как напоминание о памяти рода, хотя остальные предки лежат далеко на родине. Но они будут жить в их памяти и передаваться детям и детям детей. Хотя надолго ли хватит её, памяти-то?

И вот желание детей жить здесь, для Фёдора тоже стало определяющим на все времена существования их будущего рода. И тогда он, найдя быстро в своей деревне покупателя, продав избу, собрался в дорогу, теперь окончательно почувствовав себя среди земляков не долгим гостем...

Глава 2

В следующий 1935 год хлеб хотя и уродился, но почему-то не столь обильно, как в предыдущий. И зима, выдавшаяся почти бесснежной с умеренными морозами, но с сильными ветрами, подошла к весне с пустыми закромами. Кормов скотине катастрофически не хватало, отдавали даже прелую солому, посыпая её несколькими горстями отрубей. Угроза голода вновь кружила близко и нависала над подворьями, ещё некрепкими, ещё зыбкими, ещё уязвимыми перед голодными ветрами, выдувавшими зимой с полей почти все посевы озимых. Вот и пришлось пересевать яровыми. Однако беда кружилась не над всеми: она не могла достать ни председателя колхоза Павла Жернова, ни кладовщика и в одном лице сторожа Ивана Староумова, ни пахаря и сеятеля Семёна Полосухина, ни бригадира Костылёва. А вернувшиеся из своих блуканий по свету в поисках лучшей жизни Матвей Чесанов, Захар Пирогов, Прохор Половинкин, Мартын Кораблёв, Прон Овечкин, Гурий Треухов и некоторые другие мужики больше кого-либо боялись бесхлебицы. И перед угрозой голода были вынуждены приспособляться к председателю Жернову, налаживать с ним необходимый контакт, чтобы Павел Ефимович относился к ним добрее и мог отпустить в счёт трудодней хлеба. Значительно тяжелей приходилось Роману Климову, Фёдору Зябликову и вновь приехавшим Демиду Ермилову и Афанасию Мошеву, но о последних весь сказ впереди...

Ещё плохо приметные малорослые лесополосы, высаженные два года назад, для ограждения полей от ветров, не уберегли озимые, они подмёрзли и в апреле их пришлось подсеять, а иные так даже полностью пересеивать. И всё равно к осени того же года люди почти ничего не получили на трудодни. А бестолковое самоуправство председателя Жернова, заставлявшего

людей вкалывать на полях и току по двенадцать и более часов (да притом без выходных), совсем выбивало бедолаг из последних сил. А повыносиливей, не зная, за что они работают, выходили из себя и скандалили с Жерновым, наотрез отказываясь по убранным полям запахивать жнивьё или скирдовать солому.

Казалось, ничего не стоило выдать людям хлеб по трудодням, и напряжение снялось бы само собой, люди не накинулись бы так свирепо на председателя из-за того, что им уже не на что было жить, нечем кормить детей. Поэтому от отчаяния и безысходности намеривались уехать прочь из этой проклятой балки.

Немного лучше жилось дояркам и скотникам, телятницам и свиноводкам, им кое-что перепало то кормами, то молоком...

Видя, в каком нелёгком положении находилась большая часть колхозников, Костылёв упрашивал Жернова – выдать в первую очередь наиболее бедствующим колхозникам недоданного осенью хлеба, чтобы приглушить яростное недовольство людей. Однако председатель видел сложившуюся обстановку несколько упрощённо, он был поистине неумолим, как дьявол:

– Нет, Макар, ты у них не иди на поводу, а то сядут на закорки и тогда их не скинуть. Всегда будут просить, а хлеб, как кулаки, прятать в землю! Есть у них и корма, и зерно, просто им всегда мало, все хотят запастись впрок. А думаешь, колоски не собирали? Сам видел, но потрафлял, прижаливал, а оно вон как выходит – им всё мало! Велено малость подождать, так пусть потерпят, а семенной фонд разбазарить не допущу, под суд отдам! Допустим им тяжело, а как нам тогда держать ответ перед районом? Или ты за меня ответишь? А я не уверен, что примешь на себя удар. В кусты полезешь, а я нет!

Костылёв хотел возразить но, боясь, что председатель укорит его в потворстве народу, принял его логику скрепя сердце. И только для вида, что он согласен, помахал руками в знак одобрения и, не глядя на председателя, пошагал на наряд разьяснять сложившееся непростое положение ожидавшим его людям.

– Макар, слышь меня, если работать не станут, – закричал из конторы в форточку Жернов, – тогда штрафуй трудоднями, снимай по одному за баламутство, чтоб всем было неповладно!

А в это время на току под весовой бабы сгрудились и перекидывались между собой недовольными фразами, и дошло даже до перепалки:

– Пусть только скажет поганое, идол, я ему глаза половой засыплю! – кричала Ангелина Кораблёва.

– Бога забыли, ироды, что Макар, что Павел, и что все, кто у власти, а Бог-то и дал её им, чтоб проверить, на што они пригодные, – вставила Серафима Полосухина, до этого всегда больше молчавшая. Но с того времени, как арестовали Сапунова, в ней вдруг проснулись бунтарские настроения.

– Да от него один кукиш с маслом дождёшься! – вторила Анна Чесанова, женщина с пухлыми щеками, ещё очень моложавая, несмотря на то что у неё уже были взрослые дочери.

– И кого же ты так, Господа, али иродов? – воззрилась она на Анну.

– Да на них, на них, не на тваво Бога, Симка.

– И-их, сатана! – и Серафима плюнув в её сторону, отвернулась.

– А они и мы разве виноваты, что урожай плохо уродился? – было заговорила спокойно Екатерина Зябликова, но её оборвали:

– И ты так говоришь, Катя: кто «мы» это ясно, а кто это «они»? Наверно, тебя за то и сняли с предов, что ты тоже обманывала людей?! – взъерилась Ульяна Половинкина и продолжала: – Да урожай не хуже, чем в прошлом году! – обвела она всех взглядом. – Ещё сами подумайте, бабы, сколько хлеба мы сдали государству?! Для кого, интересно, так старается председатель? План заготовки перекрыли, а всё равно нам кукиш показали....

– Сиди, молчи, Улька, чего такое несёшь?! Катька права, нешто не знаешь, что в засуху урожай всегда бывает плохой, хотя у—нас засуха была частично! – отрезала Домна Ермилова.

– Кого, Домна, защищаешь, Пашку или Макара? – взъелась та и продолжала: – Не работаем бабы – сядем – пушай сам чёрт вкалывает за всех, а мы не дуры! Ишь нашёл халяву!

Бабы и девки увидели, шагавшего Макара Пантелеевича, и гурьбой повалили к нему, обступили бригадира, закричали, заголосили, загалдели, как стая воронья. Костылёв опустил голову, несколько вобрал её в плечи и нехотя воздел руки над головой, призывая баб к спокойствию. Он разъяснил, что хлеб выдадут к Новому году всем, а пока надо работать.

– А чего ради растягивать, вы как кулаки прячете! – закричали бабы хором. – Откуда он у вас зимой появится?

Конечно, в большей степени они были правы, и осознание критической ситуации вконец подорвало веру, что в этом хваленном хлебном крае, с его плодородной землей, их так же, как и везде, не может ожидать хлебное изобилие и во всём справная жизнь, что привело их к полному разочарованию. Но даже и в таком безысходном состоянии, когда становится совершенно ясно, что надеяться больше не на что, перед ними встал выбор: осаться или уехать, куда глаза глядят. А некоторые (а их было немало) так вообще не видели здесь своего будущего и готовились к отъезду с какой-то появившейся верой, что может им где-то повезёт...

И не только поэтому, а по разным причинам уезжали из степи люди семьями и в 1934-ом, и в 1935-ом, и в 1936-ом годах. Но в основном, конечно, из-за плохих жилищных условий, из-за нехватки хлеба и отсутствия у новеньких своего подсобного хозяйства: не имения коров, домашней птицы. Им, конечно, обещали, что со временем они всё это получают. Но их отпугивала угроза голода и неверие обещаниям. А в страду жёсткая дисциплина превращала их в каторжан, что даже и в воскресенье нельзя было работать на приусадебном огороде. Домой с поля, тока, ферм приходили поздно, не чувствуя от усталости под собой ног, так что из-за постоянного недоедания не было сил работать на своей земле. Страх перед угрозой голода нельзя было вытравить из людей даже никакими добрыми посулами. За три последних года в степи перебывало десятки, сотни семей и одиноких людей, правда, на место уехавших наезжало немало новых, но многие из них тоже тут не задерживались надолго... Но ещё с начала коллективизации самыми жёсткими мерами власти пытались остановить беглецов, ужесточить перемещение с места на место, иначе придут к повсеместному разброду и шатанию. И даже не всегда помогала введённая в ноябре 1932 году паспортная система, не позволявшая сельским жителям свободно переезжать из деревень в города, так как паспорта выдавались только горожанам...

И как бы доступ в города ни был перекрыт, люди всё равно уезжали под видом навестить городских родственников, которые покинули свои деревни и сёла ещё задолго до принятия жёстких мер. А молодёжь, только бы не остаться в деревне, пользовалась набором на стройки социализма, что тогда было самым удобным, чтобы закрепиться в городе. Но даже и эта лазейка была не для каждого доступна, так как в своём большинстве стройки индустриализации тогда обеспечивались в основном заключёнными, для чего по надуманным обвинениям, основанным на доносах, проводились необоснованные аресты. Для этого по всей стране была создана специальная агентурная сеть НКВД...

* * *

После возвращения Фёдора Зябликова из поездки на родину Жернов не преминул высказать тому упрёк, дескать, разъезжает, как по курортам, если бы с такой же отдачей работал на поле. Нападки председателя повторялись ещё не один раз, и Фёдор уже не мог без обиды снести несправедливые наскоки Жернова. При таком унижительном обращении руки не подымались на колхозную работу. С наряда Фёдор пришёл домой очень сердитым, ни с того ни с сего

накричал на жену, больно попрекнул её за то, что не захотела уехать на родину. А теперь майся с председателем-самодуром, хоть на Украину уезжай, куда почему-то чаще всего подавались отъезжающие из посёлка. Однажды с такими Фёдор поехал посмотреть, что хорошего ожидает людей в тамошних колхозах. Сёла на Украине, конечно, большие, красивые фруктовые сады, хозяева пускают на постой, живи, работай, плати мерой зерна или деньгами, но и там толки о голодоморе ещё тишком ходили...

Из поездки вернулся Фёдор недели через две невесёлый, выходит, не увидел в тех краях ничего утешительного. И сёла выглядели хоть и большими, но и там люди тоже перебивались кто как мог, и не было большой надежды на ведение своего хозяйства. А были районы, в которых сёла и хутора до сих пор не оправились от голода, где вымерли почти целые поселения, много было разорённых голодом и мародёрами до такой степени, что казалось от вида заброшенности в них еле теплилась жизнь. И приезжие, видя страшную картину, боялись здесь осесть и уезжали назад как от чумы...

Екатерина послушала страшные рассказы мужа и, обречённо махнув рукой, сказала:

– Теперь, поди, везде одинаково, что же, будем здесь жить и терпеть. Нам это не впервое. Начальство всегда было требовательное, этого я никогда не забуду. А нынче оно подавно норовит выжить за счёт простых людей, и когда им думать о справедливости для всех, а если и будет она когда, то очень не скоро...

– Да, да, не нам достанется; народ, Катя, не просто зажали, в рабов превратили, в послушное стадо животных. Мыслить не дают! – перебил жену Фёдор, стараясь говорить почти шёпотом. – На Украине за критику вождя людей сажали. И это делает советская власть, вот что обидно, а теперь наворочала горы бед, и боится суда народного, вот и зажала клещами. Всюду правят бездушные чиновники-бюрократы, да к тому же далеки от нужд народа! – нервно прибавил он.

– И я бы тебе посоветовала молчать и пожалеть себя и нас...

Фёдор соглашался с женой, однако не выдерживал произвола председателя; и, бывало, доведённый им до крайности, схватывался с Жерновым на наряде, пытаясь доказать, что своим самоуправством только злит людей, отрывает от работы.

– Павел Ефимович, если хочешь чтобы тебя уважали люди – цени прежде всего их труд, но не относись, как к рабам.

– Ишь ты какой, обойдусь без твоих подсказок, Фёдор, лучше иди да паши землю! – бросил высокомерно Жернов. – А то найти на тебя управу недолго... Поездили в поисках сладкой жизни? – ехидно бросил он. – Моя бы воля, я бы тебя загнал куда Макар телят не гонял. Нет, это не про нашего Костылёва. Слыхал такую легенду?.. В старину его пугали таких, как ты...

– Это и я слышал, так легче всего, Павел Ефимович, как слово не так сказал, значит, враг?

– А зачем тебе на рожон лезть? Работай молчком, и не станешь врагом.

И не зная, как повлиять на самоуправство председателя, Фёдор ещё резче напускался на него дома.

– Какой из него председатель, когда помещики были справедливей, чем этот окаянный самозванец! Вот как власть портит человека! – Кричал он так, будто в этом была виновата жена. – Разве он способен понять трудового человека? Да ни за что! Я думаю, он был приказчиком у помещика. И ведёт себя как кулацкий выкормыш!

– Федя, причём тут я? Зачем ты горло дерёшь? – в оторопи уставилась на мужа Екатерина. – Его теперь не нам судить, коли ему доверили власть... Ему так надобно вести себя перед районом.

– Вот это и плохо! Холуй! А кому, как не нам его судить! – вскричал и притопнул ногой, сжимая до побеления с силой кулаки. Хорошо, что полы в хате были земляные, не загудели, как это бывало при его буйном топоте в деревенской избе. А когда жили в городе на казённой квартире, он держал в узде свой кипучий гнев, так как боялся, чтобы соседи не услышали

через стенку. Хотя при Сапунове мужу работалось во сто крат спокойней. Но не все председатели считаются с народом. А то, что Жернов кровосос, пора бы знать давно, тогда как Фёдор думал, будто вставит председателю своего ума. Ещё не было такого, чтобы подчинённый стал для начальника кладезем мудрости. Вот знает же, а всё равно своё доказывает, топает бешено ногами, словно она, жена, виновата в том, что Жернову никого не жалко. А Фёдор выглядел довольно глупо, тщедушно и даже карикатурно.

– Пойми, Федя, ведь ты не член правления, чтобы спорить с председателем; не забывай, что пастух ходит за коровой, а не корова за пастухом.

– Не называй при мне его председателем! – кричал он. – Он сущий зверь, дьявол!

И Екатерина отчаянно хваталась руками за голову, опускала грустные глаза, ей было обидно за Фёдора, что своим криком он сам был похож на него.

– Ой, ой, матушка небесная, оглушил, как чем-то огрел по голове! – причитала почти шёпотом жена, у которой больше не осталось терпения выслушивать порицания мужа..

– Всё, Катя, не буду...

– Да я-то тут причём, вот иди и выпусти весь пар на Жернова.

И она, больше не слушая что он говорил, уходила прочь из хаты, да быстрее на огород, чтобы за работой там успокоиться.

– Совсем с ума спятил, – тихо говорила по пути на огород, где ещё была не убрана кукуруза.

И почти следом он тоже приходил и молча с усердием выламывал початки, словно этим самым хотел повиниться, что повёл перед ней так не сдержанно...

Глава 3

Время неудержимо текло день за днём, месяц за месяцем, и труды людей, поселившихся на отшибе от старого ростовского тракта, тянувшегося на город Новочеркасск, не пропадали даром. Своим старанием они понемногу обживались. Подворье Староумова, огороженное высоким тыном из ветвей жёлтой акации, смотрелось, пожалуй, внушительней, чем у других. По всему было видно, что хозяин старательный, заботливый семьянин, не терявший даром свободной минуты, владевший плотницким ремеслом. Иван Наумович ещё и столярничал, и бондарил, и шорничал, в общем, что только он не делал. К домашней работе он привлекал своего единственного сына Фрола, обучал всему, что могло ему пригодиться в жизни.

Ещё смолоду жена Полина к любой работе почему-то приохочивалась с ленцой или не спешила, словно раздумывала: за то ли дело взялась? Она была поджарая, долговязая, свое нравная, выражалась порой грубо, и не терпела, когда супруг, бывало, в любую работу тыкал носом. Но со временем, уяснив норы мужа, втянулась в домашние дела, и опять-таки всё делала как-то неторопливо. А когда муж подгонял, норовила огрызаться, припоминая ему шальную молодость и обзывала то бабником, то кобелём, так как на его совести остались многочисленные супружеские измены. И тем не менее ценила его, как хозяина, у которого в руках все дела спорились. И жила с мужем больше в ладу, чем в розне. Впрочем, бывало всякое, особенно на почве ревности, если узнавала о его шашнях на стороне, тут-то она ему спуска не давала. Но всё это давно осталось в прошлом. Здесь, в степи, жизнь чужбинная брала их в крутой оборот, зажимала хозяйственную хватку в железные клещи, вынуждала быть послушными колхозниками, и кое-как притерпелись с постылым советским укладом.

Единоличную жизнь не сравнить с нынешней, колхозной. До коллективизации, у себя на Орловщине, Староумовы слыли зажиточными, работающими крестьянами. Пять коров держали, да плюс ежегодный от них приплод, два кабана, несколько дюжин птиц, пару гнедых лошадей, да пару орловских рысаков для езды в губернский город. Всё это хозяйство приносило хорошую прибыль, да самих было четыре рта. Потом старик-отец помер, Иван стал

хозяином. Вот тогда Иван Наумович женился, это было ещё да революции, а потом забрали на войну с германцем, а перед гражданской был уже дома. Да недолго – красные призвали, он видел за ними силу, приспособился, ненавидя советы. Однако по контузии и ранению отвоевался рано. Взялся восстанавливать домашнее хозяйство, пока был занят своим делом, настала мирная жизнь. Сперва поставил новый дом под железной крышей. И стало год от года подворье крепнуть, обновил весь посевно-уборочный инвентарь, приобрёл лобогрейки, чего раньше не имел, поставил амбары, соорудил ригу, сладил новый заплот, как крепостную стену с воротами. И в конце нэпа завертелась мыслишка купить трактор. Нэп власть свернула, затеяв индустриализацию. Хотя понимал: мечту о тракторе одному пока не осилить; надо было с кем-то скооперироваться; среди зажиточных крестьян тогда это было распространено. В самостийную артель вступали несколько крепких единоличных хозяйств, сообща им многое было под силу. Но объявили окаянную коллективизацию, власти распустили все коммуны и началось разорение всех зажиточных единоличников. Лошади, коровы ушли со дворов первыми, а потом выгребали зерно, целыми стогами увозили сено...

Сначала Староумов противился безудержному произволу, тайком прятал зерно, корма, резал птицу и кабанов, увозил продавать на базар. Однако с двумя тёлками по дороге в город его задержали, заставив вернуть скотину колхозу, не то с плеч полетит его кулацкая башка.

– Только попробуй отдай всё в колхоз, – грозила Полина, сверкая безумно-огненным взором. – Они с умыслом, как злодеи, нагоняют страху, а ты нюни развесил!

– Без тебя знаю... Но с советами шутки плохи – к стенке, и баста! Тут бедой пахнет, ходят страшные слухи: безбожно раскулачивают, угоняют людей, как скот за тридевять земель. А ты дома сидишь, на людей носа не высунешь! Так что в ссылку я не хочу – пусть подавятся...

– Не может быть, чтобы нас, трудяг, уравнили с лентяями. Что же советы рубят сук, на котором сидят? Тогда им, варварам, позор, но не нам!

– Какой там позор, новая метла никого не разбирает, давно надо понять... Ничего, схожу за справкой к ветеринару, что коровы больны сибирским ящуром. Мне хитрить не впервой...

Однако безбожная власть не верила ни людям, ни документам. Уполномоченные пришли на подворье, оглядели справных бокастых коровок, лошадок и всех увели. После этого Староумов совсем отошал, пал духом, поник, как ветла. Думал, что теперь навсегда отвяжутся. Да не тут-то было, пришли снова из сельсовета с уполномоченным. Им показалось мало ограбили. На этот раз приглянулся им под железной кровлей дом, пилили вовсю мощь zenки аж на самый конёк крыши и переговаривались, недобро при этом покосились на него, что-то вновь записали и ушли восвояси. А потом за этим последовал вызов в сельсовет, что Староумов с семейством подлежит выселению, в связи с чем ему и членам его семьи куда-либо выезжать запрещено.

Однако Иван Наумович воспринял это предупреждение не как реальную угрозу, а как подсказку к бегству, и глубокой ночью погрузил самые ценные пожитки на телегу, коня тайком пригнал с колхозной конюшни, и всей семьёй в путь от беды подальше.

– Ваня, дом надобно спалить! Эх, ты окаянный, босякам оставляешь? – взголосила жена, и чуть сама не спрыгнула с телеги.

– Отстань, нечистая! – взревел он, стегнув коня, телега дернулась и полетела за околицу деревни и кромешную темень.

– Сам ты такой, дьявол поганый! Кому хоромину оставили? А ну, Фролушка, беги – пук сенца подпали да сунь под застреху... – и тот был готов спрыгнуть с телеги.

– Сядь! – гаркнул на сына Иван. – Ты никак от жадности совсем с ума спятила, хочешь, чтобы нас догнали да прямиком в Сибирь умыкнули? Дура осатанелая, пусть подавятся!

И всей семьёй Староумовы окольными путями выбрались из своих краёв и колесили по белу свету, пока не очутились на нижнем Дону близ Старочеркаска. «Ишь ты, сбежали от властей, как черти от ладана», – вздыхала Полина.

И сначала осели в каком-то глухоманном хуторе, нашлось им место, с помощью местных казаков поставили сбоку припёку хату. А потом продали хату и перебрались в окружную станицу. От бывлой казачьей вольницы тут осталось одно название. А ведь слыхали, если кого примут в казаки, тогда никакие враги не опасны, атаманская булава защитит. И вдобавок на посвящённых в казаки свалиться все привилегии. Однако оказалось и здесь то же самое: разорение, раскулачивание. Пришлось прикинуться погорельцами. Два года работали в колхозе, а до города, бывшей столицы казаков, было езды далековато, если надобно съездить по делам туда и обратно – уходил весь день. Хорошо, что были деньги припасены на обзаведение утварью, обстановкой и всем необходимым. Потом пришлось искать место поближе к городу, да такое, чтобы было подальше от властей. И таким под городом Новочеркасском оказался захолустный посёлок, население которого состояло тоже из таких же, как и они, Староумовы, беженцев, спасшихся здесь от раскулачивания и голода. Тогда это было всего лишь становище из землянок, в которых поселились беглые и городские, которых тут принудили заниматься сельским хозяйством.

Иван Наумович наткнулся на новопоселенцев совершенно случайно: поехал за брёвнами в Багаевскую станицу, но решил паромом переправиться через Дон и на телеге, чудом сбережённой вместе с конём, покатыл дальше. Миновал станицы: Бесергеновскую, Заплавскую и увидел на высоком, вытянутом холме город, который венчал большой, с пятью куполами, собор. Город оказался бывшей казачьей столицей, проехал весь от одних Триумфальных ворот до других, тут, на рынке, остановились на ночлег, а потом поманилось разведать, что за земли лежат в степи и увидел далеко курившиеся дымки. Там только примерялись к строительству посёлка. И спустя год на голом пространстве, по обе стороны балки, как на дрожжах, стал расти хутор, присвоивший себе название колхоза «Новая жизнь». Но после убийства С.М.Кирова его переименовали, назвали именем убиенного вождя, а поселение стало называться Новой жизнью.

Староумов вскоре перевёз семью из станицы Манычской, где продал свою хату и со всеми пожитками махнул напрямик сюда. Но прежде продал телегу и коня, так как чувствовал, что недолго его счастьем длиться, отберут коня. И нанял для перевозки пожитков грузовик. Поселился в землянке. Какое-то время присматривался к жителям, и только потом нащупал подход к Жернову, заделался кладовщиком и сторожем. После долгих скитаний и мытарств, хлебнув немало лиха, Иван Наумович, наконец, расправил плечи, стал обживаться. Он так и не принял сердцем колхозный строй. Хотя делал всё, чтобы слыть одним из сторонников колхозного движения. Ведь деваться было некуда, пришлось усмирить непомерную гордыню единоличника и затаиться, пока не наступят перемены. И он лелеял в душе мечту, что рано или поздно возвратится старый уклад. Но ожидаемого отката не последовало, проклятые советы задавали во всём гибельный тон жизни: изводили тайно людей, изничтожили среду для обогащения и обрекли на нищету. И сколько он страху натерпелся, когда наезжал в степь оперуполномоченный Вадим Соловьёв. А когда, видно, убрал «врагов народа», с тех пор больше не появлялся в посёлке. Даже в это захолустье достают щупальца карательного органа Советов. Он убедился – от них действительно нигде не укроешься. И тогда решил Иван Наумович, чем жить затаившимся врагом, стать заядлым колхозником, а под эту марку и при советах можно наживаться. Рассудив так, как это было уже сказано, Староумов наладил с председателем, а тогда ещё бригадиром Жерновым, земляческие отношения...

И земляческий их контакт длился уже больше двух лет. А когда однажды на наряде Жернов объявил, что из района получено указание откомандировать в область на курсы ветеринаров подходящего хлопца, Староумов замыслил позаботиться о судьбе сына Фрола. И пока председатель говорил, Иван Наумович два раза прошёлся перед Жерновым, чтобы тому дать понять: нечего больше подымать эту тему на людях, он уже всё решил... И к его радости, бабы

и мужики, девки и парни, почему-то не отозвались на призыв председателя, словно учуяли и убоялись его, Староумова...

Когда все разошлись по нарядам, Жернов пошагал в контору, построенную по образцу хаты, в которой занимала угол его жена Марфа и считала всю колхозную бухгалтерию. В своё время Жернов обучал жену этой науке почти всю зиму. И наконец она её кое-как осилила, теперь работала счетоводом, чем вызывала у людей зависть и кривотолки. В конторе было место и бригадира Макара Костылёва, которого председатель послал на ток, чтобы поговорить о деле с женой. У Марфы Жернов потребовал ведомость, в которой ею было расписано, сколько по трудодням полагалось выдавать людям хлеба. И пока он её листал, Староумов вступил в деревянный коридор, где было маленькое окошко, в которое только и проникал с улицы свет. Здесь он постоял, затушил сапогом папиросу и подумал: «Вот так бы растереть советскую власть», – и отворил скрипучую дверь в самую контору и вошёл.

– Можно на минутку тебя, Павел Ефимович, – тот поднял от бумаг голову, оглянувшись недовольно на входную дверь.

– Ну, чего там встал – проходи, видишь, занят! – буркнул председатель несколько грубовато.

– Разговор отдельный есть...

Жернов в согласие кивнул тому головой и как-то особенно аккуратно положил перед Марфой на стол отчёт; жена молча посмотрела, как супруг, сутуля спину, пошагал к кладовщику, не желая нарочно смотреть на Староумова. И когда приблизился, она не услышала, что тот шепнул Павлу. А он пригласил земляка в амбар, где некогда между ними впервые произошёл тот разговор, который положил начало их непредвиденного сближения.

Сейчас, идя вслед за ним, Жернов про себя рассуждал: «Ежли Иван тащит меня в своё логово, значит, что-то случилось для меня неприятное. И што же он собирался мне сказать? Может, воров поймал?» Но тут он вспомнил, что тот вечно сторонился людей, за это Жернов не осуждал своего тайного приятеля: уж что поделаешь, коли настало такое гадкое время. Вот и он, глядя на Староумова, тоже испытывал побуждение как можно реже показываться на людях. Но председателю нельзя прятаться, ведь вредно с народа отпускать узду, а то без хозяйского догляда людям будет своя воля...

– Ну, чего позвал, не тяни резину, а то времени совсем в обрез... – прервав свои размышления, заговорил он.

– Да дело, понимаешь, личное, Павел Ефимович, – начал мягко Иван Наумович. – Снарядил бы моего балбеса на эти самые курсы ветеринаров. Хватит ему баранку крутить на железной лошадке. Парень он хоть куда! И эту науку, думаю, вполне осилит...

– А ты, Иван, как я погляжу, считаешь себя таким умником, что за меня хочешь решить: кого посылать, а кому отказать?! – возмутился Жернов, даже покраснел; он подозревал, что дай тому волю, так он весь колхоз возьмёт под свою длань! – Ты опоздал, кандидатура уже назначена: Гришка Пирогов! Так что пока я председатель: мне, а не тебе решать, понятно говорю?

– Ну-ну, Павел Ефимович, меня не забижай, мы свои люди, чего нам спорить? Я ведь с деловым подсказом, и лучше знаю, что Фрол как раз больше подходит, чем отпрыск Захара Пирогова, – и Староумов хитро, этак лукаво прищурил серые глаза под нахорхленными рыжеватыми бровями и как-то настороженно заулыбался.

– Эка, какой быстрый! Чем же он у тебя такой хороший? С таким же успехом я бы мог послать своего Алёшку, но пострел ещё мал. Хотя и не послал бы... так как из-за Марфы уже все глаза колят, семейственность развожу...

– Тем более, Гришка щуплый парень, а коров держать – нужна сила, а Фрол у меня, сам знаешь, Паша, богатырь! Так что уступи мне...

– Тебе? Я вон предложил девчатам, кто, мол, желает, так ни одна не схотела. Им, понимаешь, лучше быть доярками да телятницами. А старшая дочь Прошки Половинкина просится

на строительство паровозостроительного завода. Сейчас бы ушла. Вот куда дева метит! Но кто будет в колхозе работать, ежели так каждую отпускаю? А твой, действительно, бугай здоровый, ему бы только землю пахать. Но он-то сам согласен?

– Парень что надо! Но поперёк моего наказа не пойдёт, и думаю, ещё как захочет, – радостно воскликнул кладовщик.

– Просишь, а сам не знаешь его мнение. Ну ладно, Иван, спрошу у Захара Пирогова, если не захочет Гришка, тогда будем решать.

– Да чего решать, чего спрашивать, всё давно определено; он у меня послушен, хоть и верзила. Моё слово для него – закон, а тебе нужны как раз такие, Паша!..

Когда жена Полина узнала от мужа, какую судьбу уготовил сыну муж, это её возмутило:

– Фролке, говоришь, дело нашёл, под коровьи хвосты заглядывать? Нешто смеёшься, Иван? – злорадно усмехнулась Полина, сверкая глазами.

– Поля, а что в этом плохого? Ты мне лучше не перечь! Разуделась! А ты что ему сулила? – грозно воззрился супруг, зная как бывало она наговаривала сыну податься в город...

Но он запрещал сыну и думать об этом

– Дак на агронома разве нельзя послать? Культурное дело, не то, что с коровами возиться. Ты ещё нареки ему ремесло повивальной бабки? – с нарастающей злостью заговорила Полина.

– Это он и сам осилит, как на Соньке женится. Конечно, девка она красивая, но ростом не взяла, Фролу не подходит!

– В город ему надо: там сколько разных дел и девок, сколь в рое пчёлок, а ты ему грязных коров подсовываешь! – поджала брезгливо губы супруга.

– Не встречай, куда не просят. И чего ты с городом разносилась, чтобы погинул в нём? Для Фрола ветеринарство – дело стоящее и самое доходное, ещё благодарить меня станешь! И людям большая выручка, из города пока докликаешь ветеринара – сто коров падут. Калымное дело, баешь? – Полина резко отмахнулась, как от назойливой мухи, сдалась...

К осени следующего года Староумов построил из самана курник и сарай под одной кровлей. Одним из первых завёл кур, корову, получив от неё уже два приплода.

За последние два года в посёлке, по обе стороны улицы, появилось ещё несколько хат. Помаленьку жизнь налаживалась, входила в свою колею. Правда, за это же время наплыв переселенцев по всему нижнему Подонью заметно схлынул. Но всё равно нет-нет да продолжали прибывать, и так же, как и раньше, не все оседали. А что касалось Новой жизни, то и здесь несколько семей, кое-как пережив в землянках зиму, весной тоже уехали. Из новеньких осталось лишь многодетная семья Овечкиных, состоявшая в дальнем родстве с Чесановыми...

Через три года со дня основания посёлка Новая жизнь, на извилистой стороне улицы стояло пятнадцать хат, да и на той, что вытянулись в струнку – восемнадцать. И больше хат было крытых пока соломой, чем чаканом. Поэтому новые хаты выглядели такими же, какие строили сто и двести лет назад, хотя многие сияли выбеленными стенами, придававшими строениям несколько нарядный вид, и ещё не все подворья были огорожены заборами из жердочек...

Колхозный стан образовался лет шесть назад на широком холме, плавно спускавшемся к тому месту, откуда начиналась единственная улица посёлка. А перед ней, в начале самой поляны, строился клуб. А рядом с ним давно была построена и внутри оштукатурена известковым раствором баня, кровля которой была покрыта красной черепицей. Но её так и не открыли по прямому назначению, поскольку сельсовет приспособил кирпичное здание под начальную школу. Здесь же нашлась небольшая комната для приезжей из города молодой учительницы...

Когда новая школа приняла первых учащихся, поселчане остались довольны, что их дети не будут больше учиться в городе и находиться с родителями в разлуке. И тем не менее открытие школы не помешало кому-то из баб съезвить:

– Бабы, опять будем мыться в тазах, как лягушки в нашем пруду, который пацаны сделали на свою забаву!

– А то ли нам не привыкать, бабоньки, построим сами, пусть наши детишки за место нас грамоты набираются. Жернов, говорят, у себя из кизяков баньку слепил, ха-ха!

– Из ракушника, бабоньки, баня у него сделана, да полка ещё нет! – тихо пояснила Домна Ермилова, и тут же пожалела, что подставилась бабам под удар.

– А ты откуда знаешь, никак Паша тебе там бока помял? – спросила Анна Чесанова. А другие бабы дружно засмеялись.

– Перебьёмся, мы орловские – таковские! – пропела Ульяна Половинкина, увидев, как Домна злобно нахмурилась, глядя на Анну, но её взгляда никто не заметил, и бабы стали расходиться по нарядам.

Нина Зябликова вместе с братом Дениской и с другими детьми, начинавшими своё ученье ещё в городской школе, с осени того года пошли учиться в свою школу, чем остались довольны и родители, и дети.

Глава 4

Лет шесть назад в поисках лучшей жизни уезжали Чесановы на Украину. Житьё там было бы хорошее, если бы не голод, как смерч, унесший три с половиной миллиона жизней. На худой конец можно было вернуться на родину, в Курскую область. Но Матвей и Анна знали, что с осени 1932 года на донской земле осталась их дочь Соня. И под осень 1936 года они повернули свои пожитки к ней. Первое время жили в землянке, а за лето будущего года построили хату, причём помогал Чесановым будущий зять Фрол Староумов. Соня продолжала с ним встречаться до самого его отъезда на курсы ветеринаров. И с того дня, как это произошло так неожиданно, девушка чувствовала себя как будто обманутой, и временами она думала, будто Фрол для неё навсегда потерян; дядька Иван их нарочно разлучил, чтобы они больше не встречались, так как она догадывалась – отец жениха не хотел брать её в невестки. Тем не менее Соня ждала того момента, когда он отучится, но казалось, она этого никогда не дожждётся. А пуще всего опасалась, что Фрол встретит там другую зазнобу, а её бросит, как однажды над ней подшучивала Зина Половинкина. Но Соня не стала её слушать, подозревая, что подруга так нарочно говорила, поскольку Фрол давно нравился Зине и она втайне завидовала Соне, ведь после учёбы он обещал на ней жениться...

Фрол был рослым кавалером, лучше всех одевался, курил только папиросы. И не мудрено, что он нравился многим девушкам. В глазах красавицы Сони Фрол хотел казаться потешным и бедовым, какой, в сущности, была она. А на самом деле парень по своей натуре был застенчивым и хмурым, будто чем-то вечно подавлен. Высокий, с тёмно-русым чубом, ниспадавшим на маленькие голубые глаза, скуластый, с прямым слегка заострённым носом и несколько удлинённым подбородком, он заключал в себе некоего романтического героя, только почему-то с печатью какого-то мщенья, точно на кого-то постоянно вынашивал своё недовольство. А ещё Фрол любил из себя строить важного щёголя, для чего всем на диво раздобыл хромовые, в гармошку, сапоги из блестящей мягкой кожи, широкие суконные штаны и чёрный пиджак.

На свою беду Соня не удалась статным ростом, чтобы в этом соответствовать Фролу. Зато она брала его за душу красивой внешностью, умела шить себе наряды, для чего, правда, бегала за советами к Алине Ермиловой, которая слыла в посёлке лучшей модисткой. В характере Сони присутствовала некоторая чужинка, делавшая её непринуждённой, весёлой и привлекательной, несмотря на то что Фролу она была как раз по самое плечо. А подними тот руку, девушка оказывалась у кавалера под мышкой, что в таких случаях её немало конфузило.

– Опусть, пожалуйста, руку, а то ты, мой соколик, придавишь свою мышку, – сводила она всё к шутке.

– Не бойся, Соня, моя лапка легкая, я тебя, как птенчика, под надёжное крыло орлиное! – шутил он ей в тон.

Она помнила, как года три назад, когда Соне было пятнадцать лет, после вечерки Фрол подошёл к ней с прямым предложением:

– Ну что, Соня: пела и плясала ты гарно, а так ли сможешь влюбиться? Пойдём до хаты провожу, и выясним сей вопрос? – попадая в её задорный тон, предложил он.

– А что, я дева не гордая, теперь можно попробовать влюбиться, – быстро пролепетала она. – А не понравимся – разминемся, как в море корабли! Так ли баю, Фролка, чтобы потом не было колко, – весело прибавила она скороговоркой, озорно уставясь светло-серыми глазами. И девушка с игривой нарочитостью не спускала с видного парня лучистого взгляда смеющихся серых бездонных глаз.

– Я думаю, это произойдёт не так скоро!

– Хоть для тебя я коротка, зато поглянь соколик, грудь кака гладка! – подхватила смело она, не стыдясь. – А если востребуется росток, не пойду на мосток, подобью каблуки на два кулаки, и тогда буду самой гарной девой и во всём с тобой спевной!

Так, шаг за шагом, вызревали их любовные обоюдные чувства. Фрол всё настойчивей прибавался к Соне, которая долго не верила, что их отношения довольно скоро примут серьёзный оборот и она станет его невестой. Но это произошло, что Фрол подтверждал своим постоянством; для него других девушек как бы уже не существовало. А ведь известно, что девичье сердце быстро привыкает к тому, кто западает в душу и день ото дня волнует её всё больше и больше, пока сама не поверит, что парень ей по-настоящему дорог и люб. И с таким нетерпением ожидает новой с кавалером встречи, что кажется для них вечер свидания никогда не наступит. Так и проходило для них время, которое начало отсчёт их отношений с шутки, а пришли к такому душевному согласию, что уже не могли друг без друга жить.

...Во время учёбы в краевом центре Фрол приезжал домой несколько раз и почти сразу как оглашенный (по выражению его матери) бежал к Соне, чем только выводил из себя мать и отца. Но особенно, когда заговаривал о скорой женитьбе.

– Не смей, сынок! – предостерегала Полина, грозя ему перстом.

– Фрол, неужели там барышень мало, что ты к этой карлице, как репях, причепився? – едко спрашивал Иван Наумович.

Но Фрол не отвечал, сжимал сильно челюсти и убегал из дому. Так они без родительского благословения договорились о свадьбе; он сдержал данное невесте слово, и Соня окончательно поверила, что Фрол её правда сильно любит, что чуть было в тот вечер ему не отдалась прямо в степи, куда уходили гулять, любуясь звёздным небом...

Спустя год Фрол вернулся домой, объявив родителям, мол, женится на Соне Чесановой. Противиться старики не стали, скрепя сердце пошли сыну на уступку. По сути говоря, в молодом посёлке была сыграна первая свадьба, на которую пригласили всех желающих. Так Иван Наумович решил выказать своё истинно русское гостеприимство, но этим жестом он хотел ещё показать, что он не такой уж таинственный нелюдимец, как о нём судачили злые языки...

И не успели молодые пожениться, как Фрола призвали в армию. Иван Наумович ходил сам не свой: он не мог допустить, чтобы сын служил советам, хотя сам забыл, как воевал за красных. Впрочем, тогда всё было по принуждению, а теперь уж подавно. И тем не менее Иван Наумович несколько раз с ним о чём-то тайно беседовал. Соня потом напрасно у него расспрашивала, так и не добилась от мужа признания. Он нервничал, хмурился, закуривал и уходил прочь. Однако в армию Фрол всё равно ушёл честь по чести, правда, немного не доучившись на курсах. Став женой солдата, Соня, разумеется, не захотела жить и дня у свёкров (тогда уже ожидался ребёнок) и ушла к своим родителям...

Не прослужив и двух лет, военные медики признали Фрола непригодным к прохождению дальнейшей службы и его комиссовали на гражданку. Дома с маленькой дочерью на руках

ждала его Соня, которая только на втором году его службы в армии, да и то по мужнину настоянию, вернулась в дом Староумовых.

Потом, будучи любопытной, Соня всё допытывалась у Фрола, чем же болен муж, если ему запретили дальше служить? Фрол что-то недовольно буркнул невразумительное и отвернулся к стенке. Её это удивило, что же он скрывал от неё? Но она больше не расспрашивала, а Иван Наумович, слышавший через стенку приставание невестки, на другой день, уловив момент, когда та будет одна, грубо предупредил:

– Что бы мне больше не лезла в его душу, неприятно Фролу...

– Но я должка знать, от чего его надо лечить?

– Он скоро сам будет доктором, вот и полечится.

– Так врач коровий же?..

– Ты хочешь знать, отчего заболел? – вдруг грозно спросил он и ответил: – Язва у него от переживаний из-за твоего каприза. Если бы не ушла тогда от нас, может, и дослужил бы...

Соню признание свёкра, конечно, ошеломило настолько, что она потеряла дар речи и боялась вообще беспокоить мужа. Но ей припомнился хитрый взгляд свёкра и по нему она могла заключить, что Иван Наумович нарочно хотел сделать её виновной в болезни Фрола и ей стало страшно здесь оставаться...

А когда муж уехал доучиваться в крайцентр на ветврача, Соня рассорилась со свекровью, которая, как она считала, нарочно искала предлог придрататься к ней, посчитав, что она не полоскает мокрые пелёнки и вывешивает сушить несвежими. И снова была вынуждена уйти к своим родителям, написав в письме мужу, почему не может жить рядом с его матерью.

Фрол приехал донельзя разгневанный произволом родительницы, накричал на неё. Однако, встреченный ответной суровой отповедью матери, он даже растерялся, только слушал её и бледнел:

– Она тебе, Фролушка не нужна! Я как в воду глядела, беспутная досталась. Ещё ты в армии служил, как она тут же от нас ушла самовольно, ей тогда никто дурного слова не сказал, ушла, будто мы нелюди? Со мной разговаривать не хотела. Тогда я стерпела, не стала распалаться, на сносях была. А теперь допекла она, всё выскажу, что думаю о ней, непутёвой...

– Да это всё ерунда, матка, просто Соня вас с отцом боялась. А теперь у нас дочь...

– Так вот я скажу, чего она боялась, этаким ты дурень, Фролушка, внимаешь её красивым байкам, небось, все уши прожужжала любовью липовой...

– Но-но, матка, поосторожней, короче поясни...

– И поясню, если на то пошло, при тебе у неё я что-то живота не примечала, а как ты ушёл в солдаты, сразу пухнуть стала, точно на дрожжах... А дело-то вот какое, тут к нам летом на стрельбище солдатики из города зачастили, в гребле в землянках жили в версте от хутора. При тебе их, кажись, не было... Так туда наши девки почитай гурьбой ночами бегали: обе Половинкины, меньшая Чесановых, девки Овечкиных, и сдаётся мне, Сонька оттого и ушла от нас, чтобы с солдатыками шашни завести...

– Что ты мне раньше это не сказала? – взревел плаксиво, весь побледнев, Фрол. – Кстати, ты сама видела, что она туда шастала?

– Фролушка, так ли это важно; вечером у меня глаза не видят. И разве такое открыто делают? Но с тех пор забрюхателя быстро твоя ненагляднушка Соня! А ты пойдешь, да сам спроси: почему она с нами не жила? Конечно, тебе она напоёт с три короба, мастерица плести словеса. Да я и так знаю, ей своя воля была поважней доли солдатки. Дак у нас хозяйство, работать надо, а у Чесановых, ты знаешь: двор голый, почему бы ни погулять? Задницу набок и не клятый, и не мятый. Прости Господи, окаянных... Так что Фролушка тебе она не нужна, другую найдёшь, о чём я тебе говорила ещё когда, разве ты послушал мать? А Сонька была тебе не пара, давно я это баяла, зубки так скалила и скалила, мастерица и только... А ты теперя по себе ищи, справную, рослую...

Мать достигла своей цели – влила сыну порцию словесной отравы, перевернула всю душу, ввергла его в смуту, что он уже совершенно не знал, как ему поступить? Расспросить Соню или без объяснений вытолкнуть из дому, расстаться навсегда, как подсказывает мать? Однако ему не терпелось дознаться правды: как могло стать, что его жена понесла позже того, как они стали жить совместно? И при первой встрече с Соней на улице Фрол высказал жене всё, что узнал от матери, наговорив ей столько жестокого, несправедливого и обидного, уличив её в грехе, которого быть не могло, что она совершенно растерялась, из глаз брызнули слёзы.

– Фрол, как ты посмел всему поверить, наслушался небылиц и сплетен, – наконец заговорила молодая женщина. – Этого ничего и близко не было! Я ручаюсь за себя, я клянусь всеми святыми! – дрожащим от волнения голосом сказала она, почувствовав, однако, что счастье навсегда ускользает от неё. И её душу охватила холодная оторопь, что рушатся их отношения, что любовь их попорчена, а она его матерью превращена в греховодницу?

– Ты говоришь, что дочь не от тебя, а мне все говорят, что Тая похожа на Фрола.

– Тогда почему от нас уходишь, только я не успею покинуть дом?

– Я тебе уже однажды отвечала...

– Но при мне ты помалкиваешь, что тебя донимают мои родные, которые тебе глубоко противны?

– Кто же такое не в дело говорит, Фрол? Без тебя мне одной действительно скучно. Я не умею разговаривать с невесёлыми людьми, причём они меня никогда не любили, это видно по всему...

– Это просто твой каприз, какая разница, где скучать. Или ты долго не можешь без мужчины? – и ревниво и злостно блеснули его глаза.

– Вот ты что придумал! Так ты мне никогда не верил? Да как же ты так можешь! А разница-то большая, Фрол, я уже говорила, что твой отец донельзя грубый. Я его боюсь. Да ты посуди, я знаю, как они были против того, чтобы ты на мне женился. И с такими людьми я должна была жить?

– Но почему ты ни разу не сказала: Фрол, мол, давай отделимся от стариков, хату поставим? Всё мне теперь ясно, можешь топать, – он безнадежно махнул рукой, и не стал напоминать, почему о мужчине она промолчала, видать, матушка была права.

Соня от его злых слов растерялась, он долго смотрел на жену, которая за время разлуки становилась как будто чужой. Может оттого, что сердце уже тронула другая? И то правда, у него на курсах помимо учёбы было время для общения и заигрывания с одинокими девушками. И с одной, по имени Раиса, после шуточных разговоров даже наметились серьёзные отношения. Она была высокая, как раз под стать ему, полнотелая, темноглазая, с широкоскулым круглым лицом...

И теперь, глядя вслед удалявшейся Соне, он невольно сравнивал жену с Раисой и чувствовал, что его неодолимо влекло к ней, хоть была она не столь красива, как Соня. Зато к жене Фрол ни до свадьбы, ни после не испытывал таких чувств, как теперь к Раисе. Тогда в отношениях с Соней многое было построено на шутках, он чувствовал себя непривычно раскованным, но Соня не позволяла ему много целоваться. Зато с Раисой это произошло в первый же вечер, и она его буквально околдовала... И потом она молча долго смотрела ему в глаза, словно хотела, чтобы он повторил ещё и ещё или хотела понять, что думает о ней Фрол. Раиса говорила как-то тягуче медленно, слова давались ей с трудом, её речь была вообще замедленной. Но зато слова роняла взвешено, глубоко западавшие в его сознание, как тягучий пьянящий нектар. Её манера общения ему была близка, испытывавшему к ней смутное родство и от этого казалось, что его внутреннее течение мыслей совпадало с её душевными движениями. Их роднило одно то, что в своих выражениях Раиса была чересчур серьёзна, даже несколько грубовата, на что, впрочем, он не обращал внимания. Хотя она говорила с той прямоотой, которая указывала, что ей чужда рисовка и жеманство, и в какой-то мере это было присуще его жене и оттого оттал-

кивало от неё. Но тогда он не понимал, чем именно. И вот Раиса, сама того не подозревая, помогла разобраться ему в себе и в жене.

И он пришёл к выводу, что такая простота, какая была свойственна Раисе, ему нравилась больше, чем остроумные и насмешливые складушки Сони. Поэтому жена Фролу всё чаще представлялась пустой, тщеславной и как прежде уже не могла его волновать, но особенно после знакомства с Раисой. И вот беда, он не верил матери, что Соня не от него родила дочь, так как в чертах её детского личика угадывал нечто своё. Вот и другие, по словам Сони, это тоже подтверждали. Тогда в чём дело? Но он нарочно не признавал факт своего отцовства из-за того, что не хотел возвращаться к Соне, поскольку к жене все его чувства давно отгорели. Однако на какое-то время у него шевельнулась к ней жалость. Соня же нарочно шла медленно в надежде, что он опомнится, окликнет её и они помирятся. И когда услышала его голос, она в страхе ожидания замерла на месте... Не ослышалась ли? Он действительно окликнул её, она приостановилась, обернулась; он нехотя подошёл к ней.

– Знаешь, я разобрался и в тебе, и в себе... И думаю, ты долго не будешь горевать... твоя или моя измена совесть поглотит и забудется, – заговорил Фрол, но слова давались с таким трудом, что он исподлобья поглядывая на Соню. – Понимаешь, жизнь сама подсказывает, что у нас с тобой ничего не получится...

И только сейчас холодный, колющий взгляд Фрола, его обжигающие слова, не имеющие к ней никакого отношения, Соня восприняла не иначе, как полное к ней охлаждение, вызванное исключительно подлыми наветами его злобной мамы. Это она вбила между ними клин раздора и непримирения, чтобы они расстались навсегда.

– Значит, ты, говоришь, разобрался? А я думаю, что нет, ты поверил своей мамаше, но не мне! – заговорила она вновь, видя, что он уже проникнут чужеродными чувствами, он безоглядно верит родителям, нежели ей, жене. И как ей ни хотелось пробудить в нём забытое к себе чувство, и внушить, что дочь его кровинка, она видела, что Фрол для неё уже навсегда потерян. И вот не зря упомянул о какой-то измене, но ей уже это было безразлично, и окончательно всё стало ясно, когда он вновь заговорил:

– Думай что хочешь, но отныне наше прошлое я вижу по-другому. Матка тут ни при чём, – ему хотелось думать, что он говорил правду, но выходило, что он врал ей и от этого на душе становилось как-то неприятно...

– Значит, ты меня больше не любишь? – голос её дрогнул, она напряглась. – А скорее всего, никогда не любил...

Фрол медленно-медленно покачал головой, и она ту же поникла, как налитая ядрёным семенем шляпка подсолнуха и ему никак не получалось ответить: «Нет».

– Ну что же, это я вижу, значит, насильно милой не будешь, давай – делай дочь сиротой, – она уже намерилась уходить.

– Эх, как ты ловко притворяешься, что не видишь своей вины! Я уже не верю, что ты меня любила?! – с дрожью в голосе проговорил Фрол, подняв яростно глаза.

– А вот этого я тебе больше не скажу... не хочу терзать душу! – отчеканила Соня. – Но запомни: когда дочка вырастет, она всё узнает, как ты без стыда от неё отвернулся, отступился, предал, поверил подлым наветам, и легко связался с другой... Я это вижу, Фрол, да, ни за что осиротил малютку! – Соня отвернулась, чтобы уйти прочь, на глаза вновь навернулись слёзы. И она быстро пошла, почти побежала.

– Да ты просто... хочешь разжалобить? Не выйдет! Придёт твой час, вот и объявишь ей, кто у неё настоящий отец?! – бросил он вдогонку с яростным остервенением.

Глаза Сони вконец набрякли, наполнились слезами, она безнадежно и сокрушённо на ходу качала головой. Ноги стали непослушными, больше не было сил идти домой, но какое-то время она продолжала размашисто шагать. Вот когда она только узнала настоящую цену его любви и веры, так легко поддавшегося злой воле обстоятельств. И брела дальше с ощущением

загаженной грязью, с несмываемым пятном. И скоро молва разнесёт по посёлку о ней нелепые небылицы и как тогда людям в глаза смотреть?

На подходе к дому она сбавила шаг и теперь шла медленно, с опущенными от горя плечами, не чувствуя под собой тверди земной, той самой, хорошо укатанной бричками дороги. Шла домой молодая женщина, где спала в колыбельке маленькая дочь, но уже давно ходившая и по-своему лопотавшая, так сильно похожая на Фрола, не признавшего в ней свою родимую кровинку...

Глава 5

Летнее солнце садилось далеко за колхозным станом. Часа три назад Анна, придя с поля, возилась в огороде. Валя, младшая дочь Чесановых, только что пришла с телятника, поужинала, приделась для вечёрки и сидела возле окна, поглядывая на улицу. Соня только что покормила дочь, стала укачивать, тихо напевая песенку про серого волка. Валя, боясь расстроить сестру, осторожно расспрашивала её о Фроле. Ведь это он просил вызвать Соню из дому, чтобы пришла к стройке клуба...

Вчера они не успели о нём поговорить. И когда она призналась, что видеть его больше не желает, в это время в сенях послышались голоса мужчин, сёстры прервали разговор. Валя, конечно, сочувствовала сестре, хотя всегда знала, что Фрол ей никогда не внушал доверия, так оно и вышло. Они прислушались к тому, кого там отец привёл и уже вступил в хату с гостем...

В самом деле, Матвей пришёл из тракторной станции не один: с ним был молодой парень. В страду отец иногда появлялся домой только переодеться или отдохнуть на несколько часов.

– Вот, Кузьма – проходи, – заговорил отец с порога горницы, распахнув перед гостем из коридора двери. Матвей глянул во вторую комнату, где увидел дочерей и добродушно улыбнулся гостю. – Ты не стесняйся, мои дочери красавицы, будь как дома.

Соня и Валя, полные изумления и любопытства, взирали молча на отца, не понимая, кого он привёл и по какому поводу? Но в следующее мгновение девушки уже оглядывали издали коренастого сложения, невысокого, в сером пиджаке парня, неловко топтавшегося у порога, коротко, исподлобья взглядывавшего попеременно то на одну, то на другую девушку. По сути, согласившись на предложение Матвея остановиться на ночь у него, Кузьма Ёлкин не предполагал, что у Чесанова есть дочери. Это открытие его одновременно и смутило, и обрадовало. Но Кузьма не знал, что Матвей пригласил его к себе намеренно, чтобы показать его дочерям, потому как парень ему очень нравился. Матвей увидел, как Кузьма встретился взглядом с Соней. Ага, вот кого он сразу облюбовал, недурно! Она действительно показалась ему дивно красивой, отчего парень даже растерялся. Причём Кузьма даже не обратил внимания на то, кого она держала на руках. А потом Матвей решил разрядить обстановку:

– У нас поживёт дня два, пока землянку отремонтируют. Зовут Кузьмой Ёлкиным, приехал от соседней МТС на своём тракторе. Прислали нам в помощь, – пояснил отец дочерям. Но те знали это и без его объяснения.

Соня, укачав дочь, положила её в колыбельку. Валя снова уставилась в окно, она слышала, как в передней тренькал рукомойник: мужчины мыли руки. В этот момент Валя услышала шёпот сестры над ухом, и она тогда метнулась к сундуку, чтобы достать чистый, расшитый узорами рушник.

Соня, присматривая за крошкой дочерью, была и за домохозяйку, блюла чистоту; ещё до прихода матери и сестры она сварила борщ, напекла оладьев. И теперь от печи по горницам расходился сытный, наваристый дух свежего борща, запах печёного на подсолнечном масле теста, а в духовке млела пареная картошка. Матвей истомно втянул вкусный запах еды, а потом вкрадчиво изрёк:

– Валюш, там у нас была, кажись, чекушечка. Ты нам подай ужин и к нему водочки, сегодня нам полагается, уборка идёт как надо...

– Батя, я не знаю... лучше пойду у матери спрошу, она доселе в огороде копается, – Валя стеснительно прошла мимо гостя со слегка наклонённой головой.

– Вот хорошо, ступай, огурчиков сорви, укропчику, петрушки, – присоветовал отец, озорно подмигивая Кузьме, севшему чуть в стороне от стола на табурет.

Соня тем временем на дверном проёме, соединяющем обе комнаты, задержала из цветного ситца длинные, до пола, шторы. И вскоре показалась сама с подвязанным передником поверх домашнего платья, спросив у отца, нужна ли её помощь, хотя хорошо слышала, как отец просил Валью приготовить ужин. Не дождавшись ответа, она живо достала из стола краюху домашней выпечки хлеба, принявшись нарезать ломтики на тарелочку. Боковым зрением ей хорошо был виден парень. Его спокойное, выдержанное, с мягкими чертами лицо, длинный светло-русый чуб гладко зачёсан до самого затылка, открывая гладкий слегка покатый лоб.

Накипь тяжкой обиды, незаслуженно перепавшей ей вчера от Фрола, после разговора с сестрой осела, упала в глубину души, и от этого у неё тотчас стало легче на душе. Тем не менее сознание того, что отныне ей уготован жалкий жребий разведёнки, бесславно и несправедливо отвергнутой мужем, подспудно продолжало беспокоить, как долго не заживающая рана. Но она была уверена, что уже никогда не простит Фролу такого предательства и такой грязной клеветы. А тут ещё отец зачем-то привёл на ночёвку молодого парня, к которому тотчас Соня почувствовала инстинктивное любопытство. Но что подумают люди, разве прилично приводить в дом чужого человека? И потому поступок отца ей был совершенно непонятен. А в голове между тем помимо воли зародилась какая-то смутная надежда, может, это судьба посылает ей суженого, того самого, назначенного Господом? Правда, вспомнив, что Фрол уличал её в грехопадении, Соне стало неимоверно стыдно: неужели она тут же готова броситься на шею к другому? Но она понимала, что это далеко не так, просто хотелось, чтобы дочь не испытала незавидной участи безотцовщины. Ведь скоро она начнёт разговаривать, а потом спросит: где мой отец?

* * *

Когда Анна услышала от дочери Вали, что отец привёл с работы гостя, ей тотчас пришлось бросить прополку картошки, попросив дочь собрать корове, заранее приготовленную там и сям кучками щерицу, пырей и лебеду. К тому же из балки уже тянуло сырой прохладой и быстро надвигались вечерние сумерки, поглощая очертания бугров, полей, улицы. Но ощущение наступления вечера вдобавок увеличивали обступавшие со всех сторон иссиня-чёрные облака, расстилавшиеся по всему небу — того и гляди спустится дождь...

Анна торопливо собрала в подол свежих огурцов, укропа, петрушки, выпрямилась, посмотрела, как на востоке небосвод накрыли огромным крылом надвигающиеся чёрные тучи, смешиваясь с синими сумерками. На другой стороне посёлка, через балку доносилось мычание коров, телят, залиvistое твяканье неугомонной собаки. «Наверное, у сватов окаянных», – невесело подумала женщина. И следом закручинилась о незадавшейся судьбе Сони... Валя этим временем собрала кучки травы в одну охапку, прижала её к себе, ступая вслед за матерью к хате.

С помощью старшей дочери Анна споро накрыла для ужина стол. И все, кроме Вали, сели вечерять. Матвей налил горькой жене, Кузьме, себе; обе дочери от водки отказались, промолвив важно:

– Потерпим без этого зелья, нечего утягиваться так рано, а вы мужчины, наработались, вам и надо расслабиться, – сказала Соня, вежливо улыбаясь.

– А мы будто прохлаждаемся, – огрызнулась Валя, которая уже второе лето то доила коров, то в телятнике ухаживала за молодыняком. А сегодня она пришла пораньше, потому что была не её смена, напарница отпрашивалась на полдня, потом пришла...

В большой горнице, перед висевшим на стене зеркалом, Валя прихорашивалась, подкрашивала ресницы, губы. Она вспомнила, как Кузьма смотрел на неё пристальным взглядом, и как это ей очень нравилось, испытывая удовлетворение самолюбия и тщеславия. И в свой черёд кидала на парня пробный, несколько наигранный, шутливо соблазняющий и дразнящий взгляд. Причём с таким капризным вызовом, словно он вовсе был не чужой, а дальний, где-то долго пропадавший родственник, неожиданно объявившийся после стольких лет неведомого молчания.

Свет с улицы ещё сеялся в небольшие оконца, откуда были еле слышны переливчатые голоса гармошки, доносившейся с поляны, которая выстилалась ровным зелёным ковром сразу от школы до самой балки таким огромным клином. Как раз рядом со школой прошедшей весной заложили фундамент под клуб, и почему-то не спеша возводили глинобитные стены.

Заслышав позывные голоса гармошки, скликавшей молодёжь на вечерку, Валя тотчас поспешила из хаты, бросив родителям, что она уходит на улицу. Увидев девушку в новом ситцевом цветочками платье, сидевшем на ней, как на куколке, подчеркивавшем её несколько коренастую и ладную фигурку, Кузьма невольно пожалел, что она покидала своих. Причём даже оглянулся ей вслед, приметив на шее повязанную белую косынку в виде галстука. Приезжие механизаторы на вечерки почти не ходили, потому как работали круглосуточно, сменяя друг друга. Да и все были уже не того возраста, чтобы разгуливать с молодёжью...

После второй стопки водки, Кузьма слегка захмелел, на душе было удивительно ласково и покойно. Но только уход девушки почему-то вызвал в душе скуку, и он, ни на кого не глядя, тихо вздохнул, чего, кажется, никто не заметил. Ему было двадцать четыре года, давно уже отслужил армию, жил в станице Грушевской и считал себя бывалым, много повидавшим человеком. Вот только настоящей, сильной любви ещё не испытал, несмотря даже на то, что была у него в станице девушка, отношения с которой, однако, складывались весьма неопределённо. Наверное, потому, что была она давно ему доступна и он опасался, что из неё не получится верной жены. И, находясь с ней в разлуке, Кузьма даже не сожалел об этом, и навряд ли все эти дни она высиживала дома, между ними так и не сложилось взаимного доверия. А вот сейчас рядом с ним сидела довольно красивая девушка, и она не вызвала в душе никаких сомнений, что ей нельзя не доверять. Её сестра была тоже не менее симпатична, но мгновенно испытанная по ней скука уже миновала, и он отчётливо понимал, что Соня трогала его больше.

После ужина Кузьма вышел во двор покурить вместе с хозяином. Отсюда хорошо было наблюдать, как в хате светила под стеклом керосиновая лампа. И парень смотрел на её неровный, червлёного золота, свет, как он призрачно рассеивался по горнице, и через окно, даже задёрнутое белой шторкой, хорошо было видно, как там ходила девушка...

Сумерки ощутимо сгустились, образуя почти непроглядную темень, укрывшую своим тёплым пологом посёлок. Установилась пронзительная тишина, лишь отдалённо был слышен приглушенный рокот тракторов. Товарищи Кузьмы работали в ночную смену. С другой стороны улицы в окнах хат светились огоньки. А кто-то даже запалил во дворе костёр, наверное, чтобы отгонять комаров. В тёмно-синем небе зыбились, тонули и вновь с неуверенностью зажигались июльские звёзды, расчертив по всему небосводу свои робкие бисерные узоры. А в стороне от посёлка, над пыльной балкой, вставала туманно светившая полная луна, окутанная дымным желтоватым облаком.

За куревом Кузьма и Матвей Карпович поговорили о завтрашнем страдном дне, сулившем бесконечные дела земледельцам. В колхозе полным ходом продолжалась уборка хлебов и овощей, для чего катастрофически не хватало уборочных агрегатов. В народе только и шли толки о комбайнах, которые достались МТС по их району с большим трудом, выпускавшиеся

ещё не в должном для страны количестве. Лишь со следующего года должна поступить к ним партия машин, о чём поговаривал председатель Жернов.

Ещё в начале коллективизации бурно обсуждалось, как вместо того чтобы уборочную технику предоставлять колхозам, по всей стране были созданы машинно-тракторные станции. В начале 1933 года при них появились политотделы, направленные на выявление бывших кулаков, вредителей, подрывавших колхозный строй. Но даже жёсткие меры не могли запугать народ, чтобы не вспоминать то время, когда они жили единолично, но привычной сельской общиной. В феврале 1935 года было принято решение на «ведение и расширение личных подсобных хозяйств». Этот шаг позволил колхозному крестьянству улучшить своё положение, и в какой-то мере наполнить рынок продовольствием. Но в поселении, жители только и были заняты тем, как бы самим прокормиться и ещё немногие могли продавать излишки, а порой отрывали от себя, чтобы на вырученные деньги покупать необходимые для семьи товары... Об этом Кузьма и Матвей Карпович помнили, но вслух не говорили, хорошо или плохо поступали власти, но ясно было одно: изменения на селе понимались умом, а сердцем нельзя было принять выкорчёвку того сельского уклада, который сложился за последние пятьдесят лет. Они минут пять молча прислушивались к тому, что происходило в посёлке...

Вовсю распоясалась разудалой игрой гармошка в стороне поляны, которую полукругом обступали балки: одна только слегка врезалась в неё, вторая, намного глубже и развалистей, обходила её несколько в стороне, пока не сходила на нет, переходя в пологий подъём к самому колхозному двору. И на этой поляне, видно, собралась вся молодёжь, и стало безудержно весело. Слышался звонкий девичий смех, пропевки девчатами частушек. Вслушиваясь в их не совсем внятный, не разборчивый издали смысл, Кузьма испытывал томительную тоску, с нарастающим осознанием теряющего здесь даром время...

Матвей Карпович, казалось, уловил настроение парня, докурил и собрался уходить, предлагая не настойчиво, а лишь для приличия:

– Ну что, спать пойдём, Кузьма, или ещё постоишь? Да, вечер хорош, девки, как соловьи с ума сводят, понимаю, но только не забывай – завтра рано вставать.

– Ничего, дядь Матвей, ещё армейскую выучку не забыл – встану как штык, – пояснил молодой тракторист.

В коридоре Матвей чуть не столкнулся с дочерью.

– Ой, папка, как я испугалась! – почему-то скороговоркой зашептала Соня.

– Тебе тоже не сидится? – усмехнулся он, пропуская мимо себя Соню, о которой у него по-своему болела душа.

– А сколько можно в хате быть... Тайка спит, пойду – подышу свежим воздухом, – несколько оправдываясь, ответила дочь. Но она знала: отец очень добрый, нехороших мыслей вслух не прорекал никогда.

Кузьма оглянулся на звуки скрипнувшей двери и на фоне тёмного проёма увидел в светлом платье Соню, направляющуюся в его сторону, стоявшему около вкопанного столба для будущего забора...

Глава 6

У Макара Костылёва, ставшего неожиданно-негаданно по воле Жернова бригадиром, было трое детей. Старшая – дочь Шура, средний – Назар, и младшая – Ольга.

Через два года после избрания Макара бригадиром его постигло большое несчастье – неизлечимый недуг свалил жену Евдокию, а через полгода её не стало, смерть которой так сильно задела Макара, что он, выбитый из наезженной житейской колеи, надолго запил. Дети у него, однако, выросли послушными, Шуре рано пришлось взять на себя повседневные дела. Впрочем, ещё при жизни матери она убирала в хате, стирала бельё, научилась доить корову

и снимать сметану. Для неё эти заботы не были внове и она ими нисколько не тяготилась. Так уж было заведено – перенимать домашнюю работу. После смерти матери Шура почувствовала себя вдруг совсем взрослой и вместе с тем совершенно беззащитной. Отец ничего по дому не делал и только безудержно пьянствовал, и поневоле ученье в школе на время было ею прервано, не окончив в то время даже пяти классов.

Жернов пришёл однажды домой к Макару и повёл с ним жёсткий разговор, чтобы за ум взялся немедленно, не то может полететь из бригадиров, ему такой слабохарактерный и не волевой не нужен. Сколько можно перед людьми оправдывать и выгораживать его? А ведь народ неглупый, всё видел, и хоть молчаливо, но Макару его срыв прощал. Да всё равно водкой горе не зальёшь, не вычерпаешь, ведь она-то, водка, его зараз и погубит.

Отповедь председателя немного встряхнула бригадира. Он стал вновь ходить утром на бригаду, однако, расставив колхозников по нарядам, Макар снова прикладывался к вожделённой бутылке, ходил по току, по скотне да по конюшне пьяный, но всегда молчаливый. Или заваливался в амбар к Староумову, хотя кладовщик исправно докладывал Жернову о пребывании у него гостя. Видя, что Костылёву его разговор впрок не пошёл – проскочил мимо ушей, после обеда решил заглянуть в амбар к Староумову, составлявшему отчёт для колхозной бухгалтерии.

– Кого ты у себя прячешь? – грубовато спросил председатель, будто не сам кладовщик ему доносил. – Я к тебе с предложением...

Павел Ефимович зорко окинул стол, на который падал свет от керосиновой лампы, висевшей на стене; потом Жернов выжидательно смотрел на кладовщика, вперившего на него несколько оторопелый взгляд. Что-то он не мог понять председателя: то ли шутит, то ли серьёзно? Неужели всё прикидывается, что никакого отношения он не имеет к многолетней спайке, установившейся между ними с самого начала, когда делили первые пуды хлеба и первые вырученные на нём деньги? И то правда, всё за него делал он, Староумов, тогда как Жернов только получал навар. Вот поэтому всё отходит, становится особняком, дескать, не понимаю и не хочу понимать чем ты занимаешься! Хотя всё равно принимал молчком и хлебушек, который он, Староумов, потаскивал председателю ночками тёмными и затем приносил вырученные за него деньги, которые хорошо грели руки и скрепляли их дружбу. А хлеб часто сбывали под видом общего помола на Хутанскую мельницу, со всеми посельчанами делали пару рейсов. Но потом Староумов завёл на мельнице сообщников, куда порой отправлялся по ночам на бричке доверху гружёной мешками зерна, и дело завертелось.

Однако Староумов верно мыслил, да только не знал, что Жернов ему никогда не доверял. И подозревал кладовщика в более злостном грехе, чем это было известно председателю. Он даже не приворовывал, а тащил всё: и корма, и зерно, и овощи. Недаром среди людей о Староумове бродили нелестные слухи, причём ненароком порочившие его, Жернова, репутацию, что он, председатель, поставил Ивана кладовщиком с личным расчётом, дабы вместе воровать. Но он-то хорошо знал, что у него никогда не возникало такой порочной мысли о пожизне из колхоза. Хотя Староумов к этому склонялся исподволь и не раз намекал, что к этому готов хоть сейчас. И так происходило ещё и ещё, Жернов круто уходил от искушения, а потом только взглянул на того коротко и опустил сумрачные глаза, и мог припомнить, что именно тогда он таинственно промолчал, а кладовщику того и надо было, вот он и поднёсся с первым аклунком к нему под окно хаты поздней ночью. Но сам он к сторожу не вышел – послал Марфу. Так она от него и принимала, а что и сколько – не спрашивал, делая вид, будто ничего не ведал. А когда жена шептала об этом, он затыкал ей рот крутой фразой, чтобы его в тёмное дело не впутывала...

Однако так бесконечно не могло продолжаться, и тогда Жернов, придя в амбар к Староумову, заговорил о соблюдении во всём строгого порядка, неусыпной бдительности. Есте-

ственно, кладовщик заверил, что так он и делает, напрасно Павел Ефимович выражает крайнюю озабоченность: ни себя, ни его он ни за что не подведёт...

А в народе Жернов старался дурные слухи в свой адрес всячески пресекать, действуя через бригадира Костылёва. Но люди понимали, что за спиной Макара стоял Жернов, и тогда тот, пересиливая своё нежелание вступать в объяснения с народом, выступал на нарядах перед всеми колхозниками через «не хочу».

– И чегой-то вы, товарищи, мне не верите? А я объясню: кому-то неймётся выставить меня вместе с кладовщиком как главных расхитителей. Если бы я был таковым, да разве я набрался бы сейчас смелости вот так открыто заявить вам? Конечно нет, милые вы мои! А знаете ли, что за это бывает по нашим суровым временам, так неужели я себе позволю легко преступать закон? Никакой спайки между нами, заявляю это ответственно, не было и быть не могло! Да, я поставил Староумова на эту должность, поскольку видел в нём рачительного хозяина, и он это по сей день доказывает, и вы сами всё видите! К тому же, он лучше агронома разбирается в семенном зерне и в том, как его хранить. Так неужели, товарищи, я должен это объяснять? Я не буду называть тех, кто выдумывает обо мне небылицы. Для этого есть органы, они этими слухами скоро займутся, учтите, и тогда от ответа никто не уйдёт. Но пусть они слушают и мотают на ус, – и он метнул ярый взор, прежде всего на Семёна Полосухина, Романа Климова, Захара Пирогова, Фёдора Зябликова, – что я многое прощаю, а вот наговоры – не прошу! Ежли ещё раз услышу, того я сам за клевету отдам под суд... А теперь пора за работу, у меня всё! – он умолк и неловко опустил голову и этого было достаточно, чтобы понять – гложила его совесть и не могла не гложить...

Бабы перешептывались, недовольно гудели, однако, ни одна вслух не осмелилась высказать своё суждение. Хотя по настроению людей было и так ясно, что всё равно никто не поверил усыпительным байкам председателя. Впрочем, они прозвучали как прямая угроза и предупреждение. И вместе с тем люди никак не ожидали, что Жернов решится открыто выступить, чем поколебал их мнение, что он первый колхозный вор. Конечно, за последние годы он притих, а ведь ещё многие помнили, при каких обстоятельствах был вознесён на председательский пост...

Невидимая волна людского недовольства незримо окатила Жернова, почувствовавшего вокруг себя некий немой сговор. Это ощущение вызвало в душе неприятный холодок сомнения: может, он напрасно пошёл в атаку? Может, кто-то совсем ничего не ведал, а теперь вот стало им всё известно. Но и поощрять худую о себе молву не пристало. Внешне он выглядел достаточно уверенным и спокойным, старался скрыть на лице даже тень волнения. Главное, показывать себя непримиримым борцом с расхитителями, а в народе такие есть только их надо обнаружить... Но как это сделать, он не знал...

И больше не объяснял народу, какой он честный, что кому-то тогда дало повод ещё больше увериться в расхитительской деятельности Староумова. И на это наталкивало то, что жена Полина, поставленная сторожить ток, почему-то продолжала выходить в полевую бригаду, а вместо неё дежурил Иван Наумович.

И всё-таки Жернов пренебрёг злым шушуканьем людей о расхителе кладовщике, воровская тень которого произвольно падала и на него. Но он надеялся, если что, секретарь райкома Пронырин оградит его от беды. Если бы Жернов не был в одной воровской упряжке со Староумовым, он бы решительно повёл борьбу не только с кладовщиком, но и с «горсточниками и колосничниками». Но он понимал, стоило начать пресекать расхищение, они его первого обвинят во вредительстве и сдадут органам, что тогда и секретарь не вызволит из каталажки. Вот и оставалось не замечать злоупотребления, а назначив на должность угодного себе кладовщика, Жернов поставил бригадиром безропотного Костылёва. И оба они как бы не позволяли тому беречь колхозное достояние, и даже ходили толки, дескать, дураки будем, если сами у себя не сможем брать.

Когда после смерти жены Костылёв запил, надо было снять его и поставить Староумова. Для этого он и появился в амбаре кладовщика, чтобы предложить ему во второй раз должность бригадира.

Выслушав председателя, Иван Наумович начал мягко, вкрадчиво:

– Дорогой Павел Ефимович, помнишь, как я тебе говорил, что не люблю командовать людьми и быть у них на виду. Я неисправимый нелюдимец, опасаясь сглаза людского. Мне любо работать ночью вместо своей бабы. Признаться, так мне и на этой должности хлопотно, сколько всего добра под моим неусыпным доглядом днём и ночью. Какой-нибудь лихоман или нерадивец спалит сарай, корма, а я – отвечай? Вот этого наш народец даже вредный никак не хочет понимать.

– Конечно, Ваня, это верно баешь, нельзя не отвечать. Вот поэтому я на тебя пока ещё надеюсь. Но, соблюдая порядок, сам не зарывайся глубоко, а то потом не откапываем, чуешь? Я это должен напоминать тебе без конца. А то в тебе да во мне видят махровых расхитителей. Может, кто-то примечал что-то этакое, подозрительное, за тобой, а? – спросил Жернов озабоченно, вкрадчиво, с опаской оглядываясь на дверь.

– Да как тебе такое в голову пришло, Паша, я сама осторожность, как барс крадусь...

– А я так думаю, Ваня, это всё козни Семёна Полосухина, может, его как-нибудь в долю возьмём? – и Жернов, коротко подумав, прибавил: – А вообще, нельзя – продаст!

– Нет, это исключено, а за меня не беспокойся, а если что – у меня давно свои тропки набиты...

– Вот с Макаром мне – беда! Хороший, покладистый мужик, а на глазах пропадает. Может, ты ему поможешь? А от бригадирства напрасно отказываешься, Ваня.

– Я так не помышляю, – самодовольно изрёк кладовщик, и, словно опомнясь, прибавил: – Почему Мефодия Зуева не поставить? А заведующей фермой может стать моя Полина.

– Да нет, Зуев не подходит, вроде тихий, а своевольничает, не понимает меня, – воспротивился Жернов. – И он к тому же пограмотней нас с тобой, ему здесь скучно, он больше в первой бригаде, к начальству ближе, карьеру мостит в земотдел.

– Да, конечно, но таких покладистых, как Костылёв – мало, – многозначительно ответил Староумов. Вот что думаю: а что ежели ему бабу подыскать, Павел Ефимович, тогда он непременно одумается и возьмётся за ум.

– Вот найди, коли есть на примете! Кстати, сам похвалялся, как до сорока годов бегал по чужим бабам. Между прочим, я, предлагая бригадирство, рассчитывал тебя отвести от людской молвы, но ты сам не хочешь. У нас, ежели провинился, то обязательно повышают в должности... Ну тогда работай так, чтобы комар носа не подточил, Ваня, говорю понятно?

– Как непонятно, и так стараюсь без подсказок. Но на каждый роток не накинешь платок. Завидно, вот и чешут языками, дорогой Павел Ефимович. А лучше бы сами смотрели за собой. Ведь бабы на току что делают: снимают косынки и кули из них делают для насыпа зернышка, а потом его кто куда горазд рассовывает, под юбки к срамным местам подвязывают...

– А ты бы пощупал для острастки, но каждую не проверишь, хотя всё равно нельзя и вредно, и опасно для нас допускать, чтобы хищение разрасталось. Так что, смотри Иван, чтобы нам петлю не накинули потом за попущения народа...

– Ежели по уму, то можно и от сумы, и от тюрьмы уйти, – он смело заговорщически подмигнул председателю. – Павел Ефимович, я припас тебе гостинцу, сегодня ночью принесу за огородами. И бутылочка есть – разопьём, ведь давненько вместе не отдыхали...

Жернов как-то раздумчиво помолчал, глянул на кладовщика исподлобья: каков понятлив, уловил его тайное желание, от которого иной раз гулко заходило сердце, когда представлял, что в один прекрасный день может жестоко поплатиться головой за всё, чем теперь распоряжается. Да ещё припомнят, как некогда пришёл к своей нынешней власти в колхозе. Но каждый раз при этом почему-то безоглядно верил, что Староумов никогда его не подведёт,

он для него пока самый надёжный человек. И такую непоколебимую уверенность он обрёл уже давно, как стал председателем с помощью секретаря Пронырина. И тогда же повёл скрытую от глаз людей дружбу со Староумовым. Хотя верно говорится: шила в мешке не утаишь, ведь усмотрел же народец между ними секретные отношения, скреплённые тайным обогащением.

– Ладно, Ваня, как условлено, так и делай. Приходи, да только смотри мне... того, без лишнего шума, собаку я в погреб посажу...

* * *

Между тем от долгого пьянства Костылёву самому стало жутко невольно, и почувствовав над собой собравшуюся грозную тучу, готовую разметать его в пух и прах, он вдруг одумался и бросил пить, так как уже было дальше некуда...

За неделю до этого столь отрадного события, после разговора с Жерновым, в тот же день Староумов уехал на двуколке в хутор Большой Мишкин. Там у него была давняя знакомая молодая женщина, работавшая в тамошнем колхозе весовщицей. По работе Ивану Наумовичу приходилось не раз бывать на току мишкинского колхоза по перенятию опыта хранения семенного и фуражного зерна. И там он познакомился с Феней, родители которой в 1933 году умерли от голода один за другим, а спустя несколько лет сгинул муж, после ложного оговора, якобы участвовавшего в поджоге колхозного двора. С того времени, не имея детей, она больше не выходила замуж, слыя скромной, малоразговорчивой, уже перешагнувшей тридцатилетний рубеж. И вот неожиданный приезд Староумова и его предложение, естественно, вызвали на круглощёком, румянном лице, в умных карих глазах некоторую растерянность. Ведь до сих пор Феня не надеялась выйти замуж, поскольку из-за полученной в отрочестве травмы она не могла иметь детей. И по этой причине считала себя обречённой на полное одиночество. У человека, работавшего бригадиром, потерявшего недавно жену, было трое детей. Как же это было ответственно принять такое неожиданное для неё решение.

Видя на лице женщины озадаченное выражение, Староумов счёл необходимым вселить Фене полную уверенность в скорое удачное замужество.

– Феня, не раздумывай, жалеть не будешь сильно. Попервости всегда берут сомнения, но они пройдут, как только в воскресенье привезу Макара, так что ты нас обязательно жди. И потом гляди, ещё благодарить меня станешь. Мужик толковый, не спесивый, под стать тебе, ну немного выпивает!

* * *

Не прошло и недели, как Староумов велел Макару запрячь лошадей в линейку. И вот солнечным июльским днём, во второй половине – ближе к вечеру, они покатали за четыре версты в хутор Большой Мишкин.

Разумеется, Феня Жаркова ждала гостей. Для этого у неё всё уже было припасено: и закуска, и выпивка, несмотря на то что мужики прихватили с собой бутылку крепкой.

Небольшая, из двух горниц, хатка была чистая, прибранная, все недорогие предметы расставлены так затейливо, что казалось, лучше уже их не определишь.

В гостях у Фени, как ни странно, Макар пил мало. И боялся вымолвить лишнего слова, Староумов подбадривал бригадира, чувствуя над ним своё полное превосходство. Правда, к выпивке не принуждал в столь важный и такой ответственный момент, чтобы снова на свою беду не увлёкся спиртным. А в подходящий случай посчитал нужным незамедлительно выйти на двор покурить, чтобы Макар мог сладить дело без посторонних глаз и ушей.

Однако Макар долго молчал, супил напряжённо свои густые брови, неловко поводил плечами, словно ему пиджак был тесен и безвольно опускал глаза. А потом вздохнул, набрался

смелости и сбивчиво поведал ей всё о себе, что могло заинтересовать симпатичную женщину. Выводок детей, уже немаленьких, Феню совершенно не пугал, самое главное, чтобы с ними сложились у неё тёплые и доверчивые отношения. Лишь меньшенькой дочери ещё могла потребоваться забота – непосредственное внимание наречённой мачехи. А сможет ли она заменить полностью Макару жену? Это Феню тоже немало беспокоило, и вот Макар, словно услышав её внутренние сомнения, изрёк:

– Я тебя не буду обижать, Феня. Из меня драчун не получился, – несколько шутливо прибавил Макар, искательно глядя на женщину. – Детей, конечно, я люблю всей душой. Думаю, они тебе много хлопот не прибавят. Шура, как я обещал ей, продолжит учење в школе. А пока она у меня и за мамку, и за хозяйку, прилежная и способная девочка, но гордая немного.

– От трудностей я никогда не убегала, Макар, так что мне ничто не страшно, хотя очень боюсь, что не угожу чем-либо детям или тебе. Я предчувствую, как они начнут меня сравнивать с матерью, да и ты, наверное, тоже? И если сразу не поладим, тогда у нас согласной жизни не получится.

Макар грустно покачал головой, оценив по достоинству мудрые и взвешенные слова женщины, которая должна заменить ему жену, а детям мать. И разве при этом он обойдётся без сравнения? Потом неожиданно для себя, тряхнув головой, предложил Фене выпить за их обоюдное желание начать совместную жизнь.

– Феня, давай, моя радость, за счастье наше, чтобы не вставало на пути никаких преград, – при этом он заметил, как она наклонила слегка вперёд голову, подняла удивлённо на него глаза, точно открыла для себя в его словах нечто важное, без чего отныне она не сможет существовать. Ведь Макар для неё открывался новой гранью, новой сутью своего исконного естества. Наверное, он может быть ласковым и нежным. Как хорошо, что Макар не суетливый, вполне обстоятельный, рассудительный человек, чем ей очень близок по её духовному складу характера.

– Как удачно ты сказал! Лишь бы мы сами не возводили эти преграды, – проникновенно, с настроением под влиянием горькой, приятно кружившей голову, ответила она и подняла вторую предложенную им стопку того же самогона, чуть наморщив лоб, перебарывая неприятие спиртного.

– Да, будем всегда стараться обходить их и не лезть напролом. Мне уже не терпится перевезти тебя. На этой неделе надо управиться с переездом. Как ты на это смотришь?

На его предложение Феня кротко промолчала, лишь робко как-то качнула головой, но как оно выйдет на самом деле ещё неизвестно: примут ли дети будущую мачеху? Надо бы заранее их повидать, а не въезжать нежеланной тёткой, которой мужик только и нужен. И никак не обойтись без этих личных отношений супругов, и получалось, что ради этого и сходятся разнополые люди, а значит, ей пришёл срок попробовать забытое бабское счастье... От этой мысли делалось как-то весело и в то же время страшно и даже не по себе. Она опомнилась, когда увидела протянутую руку со стопкой крепкого самогона, наречённого ей мужчины и смутилась от своих греховных мыслей, потянулась своей к нему и они чокнулись, медленно выпили, чтобы совместная жизнь не была горькой, как эта водка, подумала она.

– Завтра я приеду за тобой, – вдруг отрезал он с выдохом горечи выпитой стопки самогона.

– А что так скоро?! – испуганно воскликнула она. – Надо сперва, чтобы твои дети меня увидели. Может, они не примут? Вот тогда это будет больше, чем беда.

Макар как будто не хотел признавать этого непредвиденного затруднения, и потому на секунду глубоко задумался. А потом опомнился: как бы Феня не истолковала превратно его нежданную тихую грусть. Ещё не хватало, чтобы она подумала, будто он стал вдруг вспоминать покойную жену и сравнивать её с ней, Феней?

– Вот хорошо, что ты вовремя подсказала, прямо сейчас и поедем, чего нам тянуть резину?! – радостно воскликнул хмельным тоном Макар, кротко, просветлённо глянув на милую женщину, сидевшую в домашнем с вышитыми узорами на рукавах и по вороту и груди платье, ладно облегавшем её плотную фигуру.

На его бойкую тираду Феня смущённо улыбнулась. Она с должным пониманием простой женщины восприняла желание Макара спрямить путь-дорожку к их ожидаемому счастью в совместной жизни. Её затянувшееся молчание, вызванное некоторой растерянностью и таким неожиданным, даже в чём-то сумасбродным предложением, Макар воспринял, однако, как безоговорочное её согласие. И тогда он побежал на двор, чтобы сообщить Староумову о принятом ими обоюдном решении.

Кладовщик курил у калитки, степенно рассматривал на другой стороне улицы добротные подворья с полутораэтажными домами, с надстроенными деревянными верхами на кирпичной основе ещё, видно, относящиеся к старым временам, но уцелевшим в них людей? Но таких было не очень много...

– Старый, поди, хутор. Какие крепкие казацки куреня, и никто их не тронул, – заметил он, увидя сияющего от счастья Макара. – Вот даже и церковь уцелела, небось век стоит, но безбожники с купола крест всё-таки сорвали. Сколько их таких теперь на Руси? А в ней-то, как в матушке-Руси, основа всей русской жизни... чего нынче власти не понимают.

– Слышь, Иван я тоже люблю старину, это ещё успеем обговорить. Тут у меня решение вышло... надобно её брать и ехать ко мне с ходу, – заговорил несколько сбивчиво от волнения Макар.

– Ну, слава тебе Господи, уладилось! А я ненароком боялся, что телком окажешься и без моей помощи не договоришься. А теперь пойдём с устатку на дорожку пропустим по стопке, да и лихо махнём по дорожке указанной, – ласково и удовлетворенно изрёк Староумов.

... Чем ближе к хутору подъезжала линейка, тем на сердце у Фени становилось донельзя тревожно. Больше всего она боялась, что дети Макара не примут её, а местные досужие бабы станут из-за этого её обсуждать. Но она умела скрывать чувства, сохранять выдержку и терпение. И даже бровью не повела, что в роли будущей мачехи ей чрезвычайно жутко вступать в хату мужика, у которого трое детей, оставшихся по воле судьбы без любящей матери, которую должна им заменить. Причём она никогда не думала, что придёт день и ей предстоит выбирать суженого, предложенного ей по стечению какой-то странной оказии. До этого дня ей не приходилось бывать в новом посёлке, где подворья колхозников ещё хорошо не обустроены. Многие белостенные хаты с малыми в крестовину оконными ликами стояли открытыми всем ветрам, так как были ещё не огорожены заборами и плетнями из лозы и жердей. Перед многими хатами пока ещё не росло ни одного деревца, и оттого перед всеми стихиями природы выглядели совсем незащищёнными. Правда, такие были не все, стоявшие, однако, крепко, основательно на отведённых для них наделах земли.

Подворье Костылёвых начинало свой отсчёт хат сверху улицы, от колхозной усадьбы. Перед двором, обнесённым забором из жердей, на лавочке, сколоченной из старых досок, сидел старик Пантелей, дымя самокруткой. А неподалёку, на куче песка, играли дети. Это были младшие Зябликовы Боря и Витя, да Костылёвы Назар с четырёхлетней Ольгой, курносой в отца. Как только детвора увидели подъезжавшую ко двору запряжённую парой гнедых лошадей линейку, она тут же бросила возню в песке, встала и смотрела на бригадира с гостями.

Во дворе у Зябликовых – соседей Костылёвых – в это время никого не было. Екатерина с дочерью Ниной в огороде по картошке полола сорняк, а Фёдор Савельевич со старшим сыном Денисом ещё с утра отправился рубить по балкам хворост и жерди для забора.

Феня несмело сошла с линейки и тут как тут перед ней оказались дети. Она старалась угадать Макаровых и скоро, но, правда, не очень уверенно, указала на Ольгу, а вот Назара

из детворы выделила не сразу, она посмотрела на русого мальчугана, в загоревшем лице которого что-то было схожее с девочкой. Скорее всего губами и несколько широковатым носом.

– Я думаю, этот твой, на тебя похож, – тихо сказала она Макару и тот сдержанно кивнул, глянув как-то заискивающе и долго на сына, чтобы тот не осуждал отца.

Феня осталась довольна, что ей удалось угадать его детей, и тут же простосердечно всем улыбнулась. Короткостриженный малец подбежал к отцу, прижался плечом к его ноге. Макар погладил сына по головке. Оля засунула палец в рот; её светлые кудряшки тонкорунными волосиками, весело и как-то озорно вились по головке, она, как завороченная, уставилась на незнакомую женщину. Назар, со слегка вытянутым лицом, точно при виде дива, даже чуть приоткрыл рот...

На приглашение Макара зайти в хату Староумов вежливо отказался, посчитав, что свою миссию исполнил с честью до конца. И, попрощавшись с хозяином, Феней, он валко пошагал на бригаду. Макар, тихо улыбаясь, положил Назару на плечо руку, погладил его по спине, затем взял на руки Олю и пошёл с ней в хату, пропуская вперёд Феню, державшую в руке узелок с гостинцами для детей, опустив голову, почувствовав нарастающее волнение и от этого ноги ей отказывались подчиняться...

Дети Макара и сам дед Пантелей (на вид ещё достаточно крепкий старик) ни словом, ни взглядом не выразили какого-либо недовольства после известия, что скоро у них поселится новая хозяйка, готовая заменить им мать. Впрочем, для самого Макара, введившего в дом вторую жену, это событие произошло настолько неожиданно, что ему всё ещё не верилось – неужели он в ближайшее время женится. Но, видно, судьбе было угодно, чтобы у детей появилась мать, хотя при этом его мучил один и тот же вопрос: как воспримет Феню старшая дочь Шура? Когда умерла мать, которую она так сильно любила, казалось, её глаза не будут просыхать от слёз. Но Макар даже не видел, чтобы по ней она сильно горевала. Одиннадцатилетняя девочка, с красивой внешностью, со сдержанными манерами, по своему характеру была сложная и замкнутая. Вечно углублённая в себя, она больше походила на городскую барышню, чем на деревенскую. Шура училась в городской школе-интернате, и с каждый прожитым там годом она превращалась в гордую и своенравную девочку. Она приезжала домой лишь на выходные и каникулы, чувствуя себя в семейном кругу одинокой. Подруг тут у неё не было и её одолевало томление, она часто скучала. Но когда умерла мать, Шура понимала, что за меньшими братом и сестрой нужен уход, отец один с ними не управится...

Между тем Макар даже сам не предполагал, что он и Феня так быстро сговорятся о совместной жизни. Но пока Шура будет учиться в городе, младшие дети вполне свыкнутся с присутствием чужой женщины. И потому скоро должна успешно решиться их дальнейшая судьба, она сообщит ему о своём согласии принять незавидную долю мачехи. Конечно, Макар опасался её отказа из-за одного того, что дети могли Феню не принять, как свою мать. Вот и выходило, что только от них зависело, быть ли ему с Феней вместе. И Макар молил Бога, чтобы она пришлась по душе его чадам, но особенно младшей Оле. Если она её примет, то и Шура должна с ней посчитаться, ведь ей всё равно с мачехой долго не жить, так как после школы пойдёт учиться дальше.

И вот сейчас Макар волновался не меньше Фени; он без конца с опасением всматривался в глаза детей, и хотя старался быть спокойным, не без волнения переводил взгляд на свою милушку, от присутствия которой в хате, кажется, даже посветлело. От Фени исходило благонаправное, мягкое, тёплое излучение, растекавшееся по горнице, наполнявшее благотворной энергией душу Макара.

От угощения хозяина Феня вежливо отказалась, правда, лишь согласилась выпить чаю, так как за дорогу под палящим июньским солнцем она изрядно вспотела и теперь от пережитой тревоги без конца чувствовала жажду.

Дед Пантелей с самого начала для такого дела почёл себя здесь совершенно лишним, сказав, что ему пора отправляться дежурить на конюшню, захватив с собой бумагу, кисет с табаком и немного еды.

С чего начинать при детях разговор, Макар совершенно терялся, он хмурился и озадаченно чесал затылок. Феня находчиво подозвала к себе Олю, которая исподлобья зыркала на женщину, вызывавшую у неё чрезвычайное любопытство. Макар оживился, но видя, что дочка сама к ней не подойдёт, стал Оле ласково объяснять, что тётя очень хорошая. Девочка тут же осмелела, оживилась и приблизилась к ней, Феня взяла её за ручку, погладила белые мягкие кудряшки, затем подняла девочку на руки и с ней присела на табурет.

– Неужели ты меня боишься?

– Я уже не боюсь.

– Как же тебя зовут?

– Я Костылёва Оля! – отрезала девочка.

– А я тётя Феня...

– Я могу спеть, – бедово выпалила она.

– Вот хорошо! И заодно плясунья?

– Да! А ты сто у нас будешь делать? – вдруг спросила Оля, чуть от неё отклоняясь, разглядывая внимательно женщину.

– Пока ничего, – захотела познакомиться с тобой и с твоим братом. И если захочешь, я буду с вами жить и сошью тебе красивое платье.

– А Назалу?

– Ему рубашку и отцу тоже. И везде всегда будет чисто.

– У нас мусола нет, Сула убивает, она тозе сить умеет и сколё пливезёт из голода мне конфет.

– А у меня вот яблоки, абрикосы... – и она развязала узелок на столе. – Бери, бери Назар, не стесняйся, – предложила она, видя с каким интересом мальчик смотрел на неё, когда она выложила фрукты.

...Приезда Шуры из города Феня не стала ждать, полагая, что засиживаться долго необязательно, о чём Макар посетовал вслух, с обожанием глядя на молодую женщину. Они уселись с детьми на линейку и плавно покатали вниз по укатанной дороге. Фене дети Макара понравились и дорогой весело переговаривались о том о сём. И когда приехали в хутор Большой Мишкин, Феня одарила Макара обнадёживающим взглядом. Единственно, только она не хотела, чтобы так быстро, без долгих раздумий, решила её судьба. Однако Макар не желал затягивать женитьбу на неопределённо длительный срок. И сказал Фене, что через неделю он перевезет всё её имущество к себе в хату...

Так и было сделано. Два дня она укладывалась к отъезду, и столько же понадобилось на сам переезд. И вот наконец они, как молодожёны, соединились в супружеский союз. А ещё через неделю, не откладывая в долгий ящик, молодые поехали на линейке в поссовет, находившийся в строившемся посёлке Октябрьском Новочеркасского района, куда дорога пролегла сначала по старому городу, затем по крутому Петербургскому спуску, минуя Триумфальные ворота и через недавно построенный каменный мост, перекинутый через реку Тузлов... С того летнего дня, отмеченного шумным свадебным весельем, плясками и песнями, с участием Павла Ефимовича и Марфы Никитичны Жерновых, Ивана и Полины Староумовых, Гурия и Авдотьи Треуховых, Семёна и Серафимы Полосухиных, гармониста Захара и Варвары Пироговых, да немногочисленной родни Фени, жизнь новобрачных покатилась, как по хорошо наезженной дороге. Оля норовившая на свадьбе что-то петь и пытаться танцевать как взрослые, довольно быстро стала называть Феню мамой, а глядя на сестру повторял и Назар. По спокойному настроению Шуры Макар так и не понял: дочь с пониманием или с осуждением встретила

его женитьбу? Но его успокаивало одно: на свадьбе Оля почти не слезала с рук Фени, отчего её лицо осветилась гордой радостью...

Но скоро наступила осень и Шура, как было накануне решено отцом, уехала в школу-интернат. Из города она приезжала домой, как и раньше, только на воскресенье и каникулы. Макару казалось, будто дочь таит на него, отца, не выказанную обиду оттого, что с момента женитьбы он значительно меньше стал обращать на неё внимания. Действительно, с появлением в доме молодой хозяйки Макар заметно ожил и работал в колхозе и дома с огоньком.

Однако то беспробудное пьянство, в какое он надолго втянулся после смерти первой жены, для него даром не прошло, оставив в его судьбе досадную мету. Ведь когда ещё жена была в полном здравии, он выпивал разве что по праздникам, теперь же начал тянуться к зелью даже в будни. И на этой почве его отношения с Жерновым обострились до такой степени, что председатель был уже близок к тому, чтобы сместить Макара с поста бригадира.

– Ты что же, Макар, меня слушать не хочешь? Ведь полетишь к ядрёной матери! – однажды не выдержав его очередного пьянства на работе, Жернов стал трясти Костылёва за отвороты хлопчатобумажного пиджака, почувствовав исходивший от бригадира сивушный густой запах.

– Я всегда готов, Ефимович, это остатний... после вчерашнего, – запинаясь ответил тот, но видя, что Жернов не верит, прибавил, не глядя на председателя: – Приходил ко мне Захар Пирогов, хочет, чтобы Гришку его учиться на ветеринара послали. Хотя парень сам против, ему хорошо и на тракторе.

– У тебя почему-то всегда находится причина самая уважительная! Чего это Пирогов ко мне не обратился, а сразу к тебе? – с брезгливым видом спросил жёстко председатель. Этот разговор состоялся ещё до того, как Староумов предлагал своего сына послать на курсы ветеринаров.

– Да чтобы, я так думаю, передал тебе его просьбу!..

– Неужто считает, што я бы не понял его так же?

– Не знаю, спроси: почему он обходит тебя?

– Ладно, не будем лезть в душу... А ты вот учти, только как кликну, так на твоё место мигом многие запросятся...

– Ефимович, понятное дело, а ты разве не закладываешь? Я под дождик вчера в поле попал, вымок, а вечером для согреву пропустил, чтобы не простыть... И тут как раз Пирогов подоспел...

– Ишь, ты как заговорил под этим делом, а от трезвого слова правды не добьёшься. Мы, я так тебе скажу, по-своему все грешны... А ты, Макар Пантелеевич, мне глаза не коли; пить надо уметь, чтобы это не бросалось, понимаешь, людям в глаза. Ты должен блюсти и возвышать свой авторитет. Был бы ты партийный – разговор пошёл совсем другой... Я, как коммунист, не хочу, чтобы о тебе люди плохо судачили, дак ещё бы приплетали меня, что на ответственном посту терплю горького пьяницу. У тебя ведь жена диво, любо-дорого посмотреть, как твои дети бегают за ней, а ты её так страмишь. Выходит, сначала пил от несчастья, а нынче от переизбытка?

Макар при слове «жена» вспомнил не Феню, а покойную, которую, оказывается, тоже любил, что понял только теперь, но вовсе не оттого, что в Фене разочаровался. Нет, наоборот, и покойная жена была старательная, и нынешняя. Но первая до того тихая, что порой слова не дождёшься и от этого иногда сердился. Но зато всё у неё спорилось, и вот почему-то вдруг стала сниться, а ему казалось – она и там ревновала его, что бывало делала изредка при жизни. Хоть и во сне она молчала, но он знал, что не одобряла его раннюю женитьбу... Да к тому же у неё и привычки не было его успокаивать, когда приходил домой чем-то расстроенный. Особенно на первых порах из-за того, что не умел с людьми общаться...

А Феня была мастерица успокаивать, оттого, наверное, покойная и снилась, что и там ревновала его к ней. Он от кого-то слышал, что с того света покойники всё видят, что тут делается... Хотя и трудно было верить в эти небылицы, но снилась же она ему...

Сейчас ему нечего было отвечать Жернову, и потому не глядел на того, лишь по привычке как-то обречённо махнул рукой, утёр ладонью набрякшие слезами глаза... Но разве кому под силу заглянуть в душу другому, вот и председателю было не понять его душевные переживания.

– А, что, стыдно? – бросил тот. – Понимаю, думаю, проняло, а теперь ступай, да больше не пей. Гляди мне, последний раз предупреждаю...

Глава 7

Отслужил в армии старший сын Семёна Полосухина Давыд. За это время в родных местах, естественно, произошли существенные изменения. Расширилась колхозная усадьба, возведены новые фермы и сараи, выстроили новую, побольше старой, кузню, возводился клуб. Правда, за лето успели только поставить глинобитные стены и приступили устанавливать стропила под кровлю. А главное, сразу бросилось в глаза, как по обе стороны балки в противоположные стороны расширялся пока единственной улицей посёлок. И подрастала новая смена молодёжи, – выросла за годы его службы в армии. А то и вовсе встречались незнакомые парни, девчатки. Как выяснилось, это были из числа новых приехавших семей Овечкины, Треуховы, Деменковы, Винокуровы, Солдатовы. Но что говорить о чужих девках, когда Давыд совершенно не узнал собственную сестру Стешу, ставшую ладной, стройной, почти взрослой девушкой. И не узнал её ровесницу и подругу, Нину Зябликову, жившую на той же стороне улице, что и они, Полосухины, только чуть дальше от их подворья. Нина тоже заметно подросла, складывалась фигура коренастая, ликом темнобровая, с длинной косой, красотка – одно загляденье! Когда Давыд уходил в армию, Нина была маленькая, худенькая и неприметная девчужка, думалось – она никогда не вырастет. А вот поди же в какую красавицу расцветает. Хотя пока ростом ещё не добрала свою полную статью. Но для него, Давыда, она была молоденькой, несмотря на то что выглядела почти взрослой.

Через неделю Давыд сел на трактор, чувствуя себя настоящим бойцом, прошедшим через все воинские испытания; ходил весьма уверенно, с высоко поднятой головой, особенно на виду у девушек; и на первых порах, как и до армии, отпускал шутки и скабрёзные остроты. Он хотел казаться героем, никогда не унывающим парнем.

На молодёжных вечерах, рассматривая барышень, ему приглянулись две: Валя Чесанова и Зина Половинкина. До армии Давыд, конечно, их не знал вообще, поскольку обе приехали во время его службы. Когда они сходились вместе и нарочито озорно посмеивались над ним, он даже терялся. Валя ему, конечно, нравилась, но он всё-таки своё предпочтение отдавал Зине, русоволосой, симпатичной, с открытым лицом, с чуть вздёрнутым кверху носиком, весьма статной и крепкой на вид девушке.

– Чья эта рыжая? – несколько небрежно (норовя всё преувеличивать, так как Зина была вовсе не рыжая), спросил он у Гриши Пирогова, тоже работавшего трактористом, ставшим за последние годы ярым гармонистом, быстро перенявшим игру у своего отца Захара Пирогова, высокого, долговязого мужика. Таким же здоровяком, к своим восемнадцати годам, вымахал и Гриша.

– Зина Половинкина! – ответил бойко парень, продолжая наяривать на гармошке. – А вон там её сестра Капа, красотка ещё та! – кивком головы указал он на светло-русую с косой девушку, в которую был тайно влюблен.

Серые, пристальные глаза Давыда цепко перебежали с одной девушки на другую. Бесспорно, Капа была тоже хороша собой, не считая того, что чуть ниже росточком своей неунывающей сестры Зины, плясавшей и задиристо выкрикивавшей частушки:

*Ох, отзывчива какая,
Далеко же мне до ней.
А ему нужна такая, —
Чем бедовой, тем шальней!*

– Ух, ты, как взбрыкивает, будто норовистая лошадка! – насмешливо воскликнул Давыд, желая перехватить горящий взгляд девушки, приплясывающей этак на одном пяточке. Зине вторили другие девушки. Вечёрка сейчас только начиналась, девушки, напевая частушки, как бы опробовали свои медно-певучие голоса для предстоящих состязаний. Зина сделала вид, что случайно заметила Давыда в военном мундире, в котором для щегольства нарочно появлялся на молодёжных посиделках. И видя, что он пристально смотрит на неё, она еще звончей и бойчей запела:

*Ходит парень при параде,
А зазноба тут как тут.
Он узрел другую кралю,
И гляди сейчас сбегут!*

К несчастью Давыда, он не умел ни петь, ни танцевать. Ещё до армии слыл большим пересмешником и зубоскалом, не прощая им недостатки. Те девушки и парни, которых он знал, тут давно уже не жили. Одни уехали в город, другие ещё дальше. Из нынешней молодёжи его мало кто помнил, а из тех, кто тогда только подрастали, с трудом припоминали, каким он уходил в армию.

Тогда Давыд был крепкого, плечистого и коренастого сложения, а через три года он выглядел возмужалым и больше серьёзным, чем насмешливым. Хотя привычка подшучивать и высмеивать осталась с ним навсегда, таким уж уродился. Собственно, это был не такой уж большой порок, ведь русский мужик всегда славился язвительным нравом. Хоть и не всякий мужик любил поохотать, а уж находились и такие, что не клади им пальца в рот, так и сыпят остротами, подковырками.

Давыда же от других отличало то, что был он прирождённым землепашцем и обожал свежий запах пахоты, а также любил обихаживать и обустраивать подворье, ладить добротные строения, был бы только подходящий материал. Но как раз его-то здесь постоянно приходилось раздобывать в обмен на что-то...

Хозяйственная жилка отца Семёна полностью передалась Давыду. Но на личные недостатки Давыд почти не обращал внимания, впрочем, он старался их как бы не замечать, как это часто бывает с людьми, недостаточно наделёнными самокритикой. И тем не менее армейская выправка bravому солдату пошла впрок, он стал несколько совестливей себя прежнего; у него уже не появлялось желания насмехаться над другими. Теперь это были почти невинные шутки, он внимательно присматривался к молодёжи, чувствуя себя здесь как бы уже лишним. Вот и сейчас, бросив в адрес Зины колкую реплику, он боялся, что задел её самолюбие. Но чтобы она этого не поняла, взирал на девушку почти свысока, глаза которого как бы пытались остановить веселье девушек, взоры которых он без конца ловил со всех сторон. Они высматривали в толпе ребят braveго солдата, приходившего на вечерку в форме, конечно, не без тщеславия понравиться всем. И невольно он становился объектом повышенного внимания даже самых юных девушек, не говоря уже о подростках, которые стояли кучкой около взрослой, чем они, молодёжи. Видя это, Зина частушкой хотела обратить на себя внимание бывшего солдата, озорно устремляя голубые глаза на него, смолвившего важно папироску. Она явно вызывала его посостязаться с ней куплетами, которые она сама придумывала на лету.:

Отчего солдат не пляшет,

*Лишь вокруг глазами водит.
Говорят он славно пашет,
А на свидания не ходит!..*

Но Давыд, понимая в кого она целится, только краснел, отступал в тень, подальше от жаркого пламени костра. На этот раз Зина сумела подобрать слова, которые хоть отдалённо, но отражали её внутреннее состояние, наполняя сердце мятежными чувствами, полными смятения и терзания, отчего ей даже самой делалось стыдно.

Конечно, Давыд понимал её откровенное намерение сблизиться с ним хотя бы в частушечном состязании. Но на такое единоборство он был неспособен, и его искромётная улыбка угасала, как солнечный закат. И тут же он желал вступить с Зиной в обычную перепалку. Сейчас Давыд как никогда безмерно жалел, что до армии так и не успел научиться ухаживать за девушками. В то время он только и делал, что безудержно зубоскалил и обсуждал пляски девок, или просто допекал их своими неуместными и порой острыми подковырками. Теперь же, вспоминая своё тогдашнее поведение, Давыду становилось жалко, что вместо того, чтобы любить девушку, свои лучшие годы он потратил на глупые выходки. Впрочем, сегодня он тоже вёл себя ничуть не лучше, чем тогда, до армии, так как даже не нашёл предлога подойти к Зине и завести с ней нужный разговор, который бы навсегда их сблизил. Он даже не смог разобраться в своих чувствах, чтобы до конца понять: серьёзно ли нравится ему девушка, может ли обходиться без неё и что с ним происходило, когда она так метко задевала его частушками? Впрочем, он чувствовал, как в душе нарождалось новое уважительное отношение к людям и он больше всего боялся выглядеть перед девушками неотёсанным вахлаком. Если теперь он это понимает, значит, у него с гордостью и честолюбием всё в порядке.

Конечно, словарный запас Давыда не располагал такими мудрёными словами, он мог лишь так думать приблизительно, но был не в состоянии это же самое выразить словами. И твёрдо уяснил одно – нет ничего проще, чем посмеяться над кем бы то ни было, а вести самому умно в обществе девушек – это уж не такое сложное занятие. И даже можно получать удовольствие от того, как девушки сами потянутся к нему. В этом ему виделось смутное понимание природы просвещённого человека. Если раньше смех служил ему исключительно прикрытием собственных глупостей и защитой от умников, то теперь он понимал, что ошибался. Тогда он вёл себя вызывающе нагло, пелена дремучей бесшабашности, казалось, навсегда рассеялась в сознании, и отныне Давыд испытывал желание научиться объясняться с девушками, к чему, собственно, он был пока ещё не готов, поскольку к этому раньше не испытывал устойчивого стремления. Теперь он настолько глубоко уяснил это, что Давыд даже нахмурился, уставившись на Зину задумчивым взором и пытаясь отгадать, какой она могла бы быть вне молодёжной вечёрки, где девушки вели себя больше наигранно, чем серьёзно, точно актрисы на театральной сцене исполняли заданную роль. Однако для него это была, в сущности, непосильная задача, равная взгляду на ясное звёздное небо: а таким ли оно будет завтра?

Конечно, смехом можно было прикрыть и ложный блеск своего ума, и осмеять завязатого острослова. К этому он не гнушался прибегать даже в тех случаях, когда затруднялся завязать с девушкой нужный разговор.

И как огня боялся застенчивости, которая вдруг нападала на него, а чтобы избежать её, он норовил подмечать за другими недостатки, связанные с внешностью и одеждой, вызывавшие у него нарочито ядовитый смех. К примеру, на ком-то мешком висел пиджак, а брюки были чересчур короткие, а то и просто мог поглумиться, когда некто на ровном месте падал, наступив на арбузную корку, при этом смешно чертыхаясь. Или того хуже, кто-то заглядевшись на девушку, невзначай подворачивал ногу, и у Давыда такие случаи почему-то вызывали безудержный смех. И, подобно безумцу, он смеялся над всяким, кто попадал в какую-нибудь неприятную историю. Но это, повторяем, было до армии, теперь же бывший солдат уже не испытывал в смехе насущной потребности, что им сознавалось с немалым удивле-

нием: неужели он когда-то слыл таким ярим пересмешником? Особенно он это осознал через несколько дней после своего первого появления на молодёжной вечерке...

Своими задиристыми частушками Зина точно возмещала ему обиды когда-то им осмеянных парней и девушек. Она приводила Давыда в недоумение тем, что перед ним нисколько не смущалась, даже более того – кокетливо важничала, не допуская со своей стороны и намёка, что её куплеты адресовались ему, будто он мало чем её привлекал. Хотя на самом деле всё обстояло иначе, ведь Давыд Зине нравился не сам по себе, а одним тем, что его родители в посёлке слыли уважаемыми и работающими людьми, несмотря на то что сыновья Полосухиных не очень блистали яркими внешними данными, но были по-своему обаятельны. Но исходившее от Давыда обаяние порой подменялось откровенным ехидством. Между прочим, эта его привычка не только охлаждала чувства девушек, но и несколько настораживала, в том числе, разумеется, Зину тоже. Впрочем, её это особенно не смущало ещё и потому, что мать подучивала дочь сблизиться с Давыдом. И как тут было ему не простить его порой бесцеремонный смех, ведь в молодом посёлке был уж не такой большой выбор женихов, если не считать подраставших парней, которым ещё только предстояло служить в армии. И всё же Давыд из всех был самым видным, привлекавшим внимание девушек, что у Зины вызывало скрытое недовольство.

И заметней всех в глаза бросалась Валя Чесанова, отличавшаяся не лёгким, а нарочито кокетливым нравом, чем без конца обращала на себя внимание Давыда. Конечно, своим поведением девушка тешила самолюбие кавалера, он начинал посмеиваться, при этом отмечая, что его симпатия к Зине ничуть не уменьшилась. И выжидал, почему-то не спешил заговорить с девушкой, точно предоставляя ей сделать это первой. Может, он и подошёл бы к ней, но ход вечерки был явно не в его пользу, так как пляска была в самом разгаре. Но ему она мешала, и он не знал, под каким предлогом отвлечь Зину. И от этого ли или от другого, весёлость на время сменялась задумчивостью кавалера, и тогда он закуривал свою щеголеватую папиросу, желая, между прочим, ею показать всем, что он курит вовсе не самосад. Однако в этот момент, видно, Валя так допекла Зину, что та этак нарочито отчаянно притопнула каблучками туфель и озорно пропела:

*Вот соперница стоит,
В душу милому глядит.
Не потерплю я этого,
Буду с ним гулять всё лето я!..*

Нина Зябликова была как раз в той переходной поре, когда о парнях всерьёз ещё не думают. Однако и она, как в душе отмечала Зина, на парней постарше себя кидала любопытные взоры. И, конечно, эта пигалица во все глаза смотрела на Давыда, который порой больше положенного взирал на юную девчушку, выставлявшуюся на него своими полными чистого любопытства глазами. Если Давыд не растеряется, чего доброго тотчас зазнается, польщённый вниманием даже девочки-подростка, и ему так недолго войти в раж гуляки и бездельника. Примерно так с опаской думала Зина, ревниво посматривая на юных соперниц.

Когда Давыд после армии в первый раз появился на вечерке, он только присматривался и обвыкался в молодёжной среде. Из тех девушек, которых он помнил до армии, никого не осталось. Городские парни и девушки, что жили в землянках-общежитиях, давно разъехались, где теперь в зимнее время была колхозная столовая. Клава Пинина, невеста брата Панкрата, говорили, жила с родителями в городе. Соня Чесанова вышла замуж за Фрола Староумова, но неудачно. Ещё ходил слух, будто бы Фрол нарочно косил под больного, чтобы раньше срока вернуться домой. Катя Затонова трагически погибла по вине нынешнего председателя колхоза имени Кирова Павла Ефимовича Жернова. Но он сумел уйти от обвинения в причастности к хищению горючего, чего многие уже и не помнили. Из ребят тоже никого не осталось: одни служили в армии, как его брат Панкрат, Сергей Зуев, другие куда-то уехали. Тимофей Пинин

в городе строил паровозостроительный завод, Давыд видел его, когда становился в военкомате на учёт, и тот звал его на стройку, там, мол, весело, девчат – тьма! Зато в посёлке на их место подрастало новое поколение, а из числа приезжих появилось много подростков, даже больше прежнего. У Овечкиных Ольга и Арина, у Климовых Зоя, сестра Гриши Пирогова Глаша. Арина Ермилова редко появлялась на вечерках, а всё потому что вовсю путалась с приезжими трактористами из МТС. Вот и у Ермолаевых подросла в барышню Дора, а у Кораблёвых, кроме сына Кондрата, тоже две дочери Тома и Ньюра и уже почти невесты. И у самого Жернова столько же – Настя и Наташа, и у Емельяновых две дочери...

Так что не только девушки, но и маленькие ходили на вечерки; и это радовало служивого; они стекались на поляну, как только загорался костёр и разудало заиграет гармошка. А некоторые так даже сопровождали на поляну к месту танцев Гришу хороводом. Давыду рассказывали, что Шура Костылёва, которая выделялась своей красотой, стала непомерно гордой, заносчивой, ведь училась в городской школе-интернате. На вечерках она появлялась довольно редко, так что ему тоже не шибко разогнаться при выборе наречённой. Одни ещё недоросли, другие не нравились, третьих надобно покорить, а этого как раз он пока не умел. И всё-таки Давыд рассчитывал во что бы то ни стало понравиться Зине. Но когда она пропела частушку о некоей сопернице, он тотчас воспрянул духом. Зина направляла стрелы ревности не то в сестру Капу, не то в Валу, но помимо этих ещё было с десяток девушек. Но скорее всего она пыталась поразить своей меткой частушкой вторую. И тогда Давыд решил нарочно поухаживать за Валею, набиться ей в провожатые до хаты. И неожиданно для себя смело подвернул к девушке, весёлое, лукавое лицо которой с зазывно горящими глазами, взирали на него так откровенно, что в душе враз опали стеснительные оковы.

– Валуша, пошли прогуляемся, ночка тёплая, а у кострища жарко! – с ходу жарким шёпотом предложил бывший солдат, словно боясь, что она оборвёт его.

– Да куда же это? Али в поле поведёшь? – усмехнулась девушка, прикладывая к губам кулачки, чтобы не рассмеяться, при этом глядя на парня исподлобья светлыми лукавыми глазами.

– Да хоть на край света, чем тут торчать попусту?

– Ну, коли так, айда! – Валя кокетливо повела плечами, слегка гордо вскинув голову, важно выходя из круга молодёжи.

После того, как образовавшаяся у всех на глазах пара растворилась во мраке, Гриша Пирогов вдруг оборвал игру на гармошке, при этом доставая из кармана пиджака кисет с табаком, принявшись не спеша сворачивать сигарку. Девушки и парни, ехидно усмешничая, посмотрели на изменившегося в лице гармониста и заскучили, нарочито вздыхая.

Подростки без конца подкидывали в костёр подтаскиваемый из балки бурьян. И он яростно шипел, потрескивал, воспламенялся скоротечным жарким пламенем, оттеснявшим мрак, который, по мере угасания костра, тотчас вновь надвигался. И на поляне на миг воцарялась почти непроглядная темень, лишь догоравшие будылья хвороста малиново-ало мерцали тускнеющими бурыми переливами, перебежавшими по обуглившимся остовам. И у молодёжи тотчас спадало настроение.

Стеша Полосухина стояла рядом с Капой Половинкиной, и о чём-то с подругой переговаривалась шепотком. Из их разговора вскоре стало ясно, что Стеша не одобрила выбор брата, хотя её саму в свой черёд интересовал Гриша Пирогов, окружённый в это время парнями, поднимавшими то и дело зычный смех. Причём они то отходили от костра в сторону, словно там о чём-то нешуточном сговаривались, то снова приближались к месту танцев возле костра, а вместо них отлучались другие, где позвякивала бутылка о стакан...

Кроме Зины, естественно, выбор девушки для Давыда составлял из её же ровесниц – Зои Климовой, близняшек Ольги и Арины Овечкиных и ещё некоторых девушек.

– Эх, Зиночка, зря старалась! – подступив к подруге, бойко заговорила Зоя. – Валька шустрой оказалась: раз и определила что к чему!

– Не говори чепуху. Я и не думала его завлекать. Просто подшутила над Валькой, раззадорила её, – не без важности ответила Зина. – Если бы не я, Давыд на неё, поди, и не глянул!

– А правду ли бают, девчата, что Фрол привёз домой другую кралю из какой-то верхней станицы? – вмешалась остроглазая и остроносая Ольга Овечкина.

– Девки, я видела, высокая, как каланча, нос крючком и вся конопатая! – воскликнула нарочито с издевкой Арина.

– Да это тётка Поля постаралась отшить от сыночка Соньку, – вступилась Зина. – Наши бабы судачат, что она путалась с солдатами, стоявшими в гребле, когда Фрол служил в армии.

– Кстати, девоньки: что-то давно не было наших старых кавалеров! Как было чудесно, когда они жили в гребле, – вздохнув, грустно отозвалась Арина. – Ах, как хочу солдатика-дронлика!

– Хотя бы скорее приехали! – мечтательно прибавила Зоя. – Надо у Стеши узнать, ждёт ли она своего солдатика, намеренна хвасталась полученным от него письмецом...

– Вот кто ждёт больше всех, так это Шура Костылёва, правду, говорю, девоньки! – проговорила Зина, убеждая в этом и себя и подруг.

– А нужен ей солдат, когда она из себя городскую барышню строит, господи прости, вообразила из себя барыню, вот что я вам скажу, – вмешалась не без зависти Зоя. – Там ей разных хватает...

– Верно, в городе она найдёт любого. Разве солдата будет ждать? Как бы не так! – отрезала Ольга.

– А нам на кого рассчитывать в этой дыре, когда скоро уйдут служить наши ребята? – спросила не без досады Зина.

– Разве тебе это угрожает, Зиночка? Давыд на тебя глаз сразу положил! – страстно бросила Арина. – А с Валькой видно пошутить захотел...

В это время Гриша развернул меха своей гармошки, точно кто ему на ухо шепнул, чтобы Зина напевным словом отчитала товарку. И та разошлась задорно:

*Я ему горилки налила,
И про соперницу наплела:
Уведи её, заразу,
Чтоб до беды не довела.
А когда он выпил водки,
И лицом расцвёл,
По моей наводке —
Соперницу увёл...*



Покатился весёлый девичий смех, как сиявший на солнце говорливый весенний ручей. Однако с уходом Давыда, увлёкшего Валу, уже не с тем искристым и молодым задором плясали девушки, взмахивая над головушками своими косынками и платочками...

А через час девушки и парни, что были помоложе, стали расходиться по домам: кто парами, кто отдельными группками, а кто и по одиночке. За Ниной Зябликовой впервые увязался Алёшка Жернов, на которого девушка скидывала недоумённый взгляд, словно не пони-

мая, что ему от неё надо. Но так ничего ему и не ответила, хотя хорошо понимала, как её отец донельзя ненавидел его отца, председателя колхоза. Не дай Бог ещё увидит её с Алёшкой и заругает, что начала дружить с сыном Жернова. Нина в этом не видела ничего плохого, наоборот, ей даже становилось любопытно, что у неё появился первый ухажёр, к которому, правда, она пока никаких чувств не испытывала...

Когда уже некому было поддерживать пламя костра, весёлая и залихватская пляска парней и девчат пошла на убыль, а вскоре и совсем выдохлась. И как повелось, на прощанье, с поляны, окутанной теменью летней ночи, над раскинувшимся небесным звёздным куполом, послышалась протяжная, задумчивая, с печальными нотами, гармошка, под игру которой затянули девушки задушенную песню о несчастной девичьей любви, заглушая своим пением и трескучих цикад, и трассирующий звон сверчков...

Глава 8

Когда в дверях коридора в светлом платье показалась Соня, Кузьма Ёлкин перед её появлением гадал: выйдет или не выйдет. И теперь он радостно подумал: «Нешто ей провидение подсказало, что я хочу видеть её! И выходит, она пришла по моему желанию»? Кузьма живо затёр сигарку носком сапога, и повернулся к ней лицом. Она подходила медленно, будто опасалась потревожить его покой. Кузьма отошёл от калитки и застыл на месте в ожидании начала отношений, чтобы они непременно привели к желаемой развязке. Лёгкий хмель приятно покруживал голову и ещё оттого, что от девушки повеяло на него духами, пахнувшими цветами. Соня стояла от парня всего в нескольких шагах. У Кузьмы вдруг непроизвольно забилося сердце, изгоняя смутные воспоминания о том, что у него было до этой встречи. Да и было ли, если он уже давно не испытывал ничего похожего...

– Я вышла подышать свежим воздухом, – услышал Кузьма, но за этими словами ясно улавливался другой смысл: «Ни на что не рассчитывай, я серьёзная девушка». – А то весь день сижу в хате да в хате, – продолжала Соня, – то стирка, то приборка. И даже с малюткой своей мало гуляю, – и после короткой паузы спросила: – Я тебе не помешала?

– Нет. Одному мне скучно, кроме твоего отца, никого тут не знаю, – слукавил Кузьма.

– Вы уже давно у нас?

– С весны, и всё это время в поле да в поле...

– Наверно, у вас в станице намного веселей. Грушевка большая, сады кругом растут. Однажды я была там по оказии. Жаль, у нас мало зелени, одни пустыри! А на моей родине так красиво, река, лес...

– Зато тут у вас хорошо поют! – указал Кузьма в сторону поляны.

– Тебя ничто не держит, пойди, развейся. А я своё уже отгуляла, – вздохнув, жалобно произнесла последние слова молодая женщина.

– Мне отец твой в двух словах о тебе гутарил... Да, негодяй Фрол, как легко поверил сплетням! Ты на такую не похожа, я это сразу уразумел...

– Да? Как же тебе удалось? Или опыт имеешь? – после паузы несколько иронично спросила Соня, хотя в голосе прозвучали грустные нотки.

– Очень просто... по походке и по глазам, разве я не прав?

– Смешной какой, ведь походка зависит от настроения, а глаза могут быть непостоянными. Просто ты не хочешь меня обидеть, никто правды не знает. Но всё равно с тобой легко чесать языком, а мой муж тяжелодумный. Ой, что я плету, ведь он уже не мой, у него другая. Но если бы позвал – не пошла бы, – грустно прибавила.

– Правильно, такой чудила тебе не нужен!

– А ты видел его, что так говоришь? – удивилась Соня.

– Если такую красивую девушку бросил, конечно, ещё какой чудила!

– Да, не успели мы расстаться, как привёз другую. Какие непостоянные мужики! —прибавила она, задумчиво покачав головой.

– Соня, ты можешь не поверить, но я уже действительно не могу думать о своей станичной дивчине, потому что ты с первого взгляда мне понравилась.

– Ну вот, пожалуйста, оказывается вы все такие. Когда Валя уходила, я думала, что ты за ней следом побежишь. Не знаю, как я могла тебе понравиться, да ещё с дочкой на руках?

– Ты даже сама не представляешь, какая ты красивая! — воскликнул Кузьма, не заметив, как порывистым движением обнял Соню и стал осыпать быстрыми поцелуями волосы, щёки, губы. От его вольного поступка закружилась голова и бесстрастно, безвольно отдавалась его нахлынувшим чувствам, которым была она готова поверить. Но потом Соня спохватилась, что они перешли все допустимые границы, и резко оттолкнула его от себя.

– Что ты делаешь Кузьма, разве я такая падкая до этого, нешто ты смеёшься надо мной? — с обидой быстро, почти отчаянно, проговорила она. — Хмельным словам я не верю. И не прикасайся ко мне больше, — прибавила она нарочито сердито.

– Прости, Соня, что не удержался, меня ты правда покорила и я не смог сдержать свои чувства.

– Это всё водочка делает. Так что ступай себе спать и подумай на трезвую головушку, — а сама продолжала стоять, словно ждала продолжения его сладкозвучным словам.

– Можно закурить?

Соня не ответила, продолжая смотреть на улицу, откуда была слышна песня. А потом вдруг повернулась к нему.

– Ты гарно умеешь говорить, небось, моей сестре в два счёта забил бы голову, но мне... не старайся, — заговорила спокойно, ожесточённо, желая уловить его реакцию.

– Да это тебе показалось. Я правда... тронула ты меня!..

– Предположим, я тебе поверила, но красу, как в песне, можно измять, оставить и перейти к другой!

– Но ты действительно запала мне в душу, и даже неважно, что у тебя дочь! Я буду её любить так же, как тебя...

– Ах, как трогательно! Неужто я должна растаять от твоих сладкозвучных слов и всё тебе позволить? Нет, Кузьма, ты бы сперва разобрался в своих чувствах, чтобы потом не убежал к своей станичной дивчине, — она горестно засмеялась. Он вновь попытался её обнять, но она резко оттолкнула его, ощущая гулкие удары сердца.

– Я же сказала, больше так не делай, — напомнила она, уже сердясь.

Соня сознавала, что последние слова произнесла не столь твёрдо. Вот он и осмелел. А надо было по спине огреть кулаком; думает, если один раз ошиблась, то и второй можно? Нет, этого она не допустит и пусть не надеется на лёгкий успех. Она не Алина Ермилова, которая не пропустит ни одного мужчину. Между тем признанию Кузьмы ей почему-то хотелось верить, уж такое доверчивое сердце женщины, и могла рассчитывать на него, как на вполне надёжного жениха, он действительно производил впечатление искреннего человека, который говорит и думает одно и то же. Разве Кузьма был похож на оболстителя, стремившегося во что бы то ни стало завоевать её расположение? И Соня, думая так, пристально глянула на парня, желая понять, права ли она или хочет сама оправдать его; хотя в темноте так и не уловила выражения его лица...

Её последние слова Кузьму не обидели, он и до этого слушал её мягкий приятный голос, улавливая в нём нотки сомнения и понимал, что сейчас ничто не могло заставить его отказаться от неё, и нечего долго думать, чтобы сделать ей предложение. Он чувствовал прилив своей страсти, которая передалась молодой женщине, что было видно по её не столь твёрдому тону, а это значит, она боится оттолкнуть его от себя. И если постараться, он может скоро сломить её сопротивление и она перестанет ему прекословить. Но что он тогда докажет своей животной

страстью, которую не сумел сдержать даже силой воли; и он был огорчён, что Соня оказала ему сопротивление, и он испытал унижительное чувство, словно она врезала ему пощёчину.

– Ты хотела бы, чтобы я тебе рассказал о себе? – спросил он, пожалев только сейчас, что с этого и надо было начинать сближение.

– Вот наконец ты догадался, а то руки распустил... – мягко упрекнула она.

И Кузьма закулив, начал рассказывать:

– У своих родителей я был самым младшим, восьмым ребёнком, сполна познал нужду, голод, помню гражданскую войну, с неё не вернулись старшие братья и батя. Говорили, что их расстреляли красные лишь за одно то, что отказались воевать. И от стариков в станице я слышал: если бы не революция и война, народ теперь бы так не бедовал, и вы, приезжие, не скитались бы на чужбине от одного крова до другого, а может, вообще остались дома... И то, что жизнь повсюду понемногу налаживается, это вовсе не заслуга колхозов, а естественный ход жизни. Да, год от года выползаем из нужды, но медленно и было ещё очень далеко до нормальной обеспеченной всеми благами жизни... А работали бы не в колхозе, а на себя и быстрее бы шли в гору...

В приглушённый голос Кузьмы Соня вслушивалась с какой-то внутренней смутной тревогой. И страх всё больше сковывал её душу, она хотела одёрнуть его, чтобы замолчал, больше не говорил вольных речей, которые огорчали её, что он не одобрял ни революции, ни колхозного строя, ни советской власти. Но своей затаённой болью он так тронул её, что она тихо, затаив дыхание, слушала его необычные речи, расхоdivшиеся с нынешней жизнью...

И только поэтому Кузьма представлялся Соне совершенно враждебным, вызывающим в душе решительное осуждение. Но так как на это не имела никакого права, Соня, не зная как поступить, смущённо опустила голову и подумала об отце, почему он привёл в дом человека, не признающего нынешнюю власть. Кузьма, уловив её суровый взгляд и вместо того, чтобы узнать, почему она задумалась, стал её рассматривать. На её затылке подобраны волосы и повязаны косынкой; она теребила пальцами на платье концы пояса, уйдя в свои неутешные думы, и оттого казалось, будто потеряла к парню всякий интерес. Затем она быстро подняла на Кузьму глаза, разглядывая его скуластое, крепкое лицо, казавшееся, как ни странно, бесконечно родным, окутанным ночным звёздным сумраком, и от этого как бы от неё отделявшимся.

– Кузьма, почему ты хочешь казаться кем-то обиженным? – вдруг спросила она. – Разве можно смотреть на новую жизнь стариковскими глазами? Если бы не революция, ещё неизвестно как бы мы жили. Значит, она была необходима...

– Зато нынче много непонятного делается, я вот не могу жить и работать на себя дома. Прислали к вам, разве когда-то такое было возможно? За что моих родных постреляли, как собак, потому что они не хотели убивать, но мечтали пахать землю, растить хлеб, воспитывать детей?! А твой муж уехал учиться не по своей воле, когда мог вполне пахать, засеивать землю...

– Не понимаю, если колхоз послал учиться, что в этом плохого? Когда такое было, чтобы предлагали учиться? Разве раньше по найму не работали батраки, мой тятка сказывал... Жизнь на месте не стоит. Колхозы создали не от хорошей жизни, чтобы вывести людей из вековой отсталости и нищеты. Ты понимаешь, что в старое время крестьянам учёба была не по плечу, помещики давали всего трёхклассную грамоту. А моя мать вообще не умеет ни читать, ни писать. Отец ходил два года в церковно-приходскую школу...

– Постой, Соня, отчасти я разделяю твои мысли, но мой дед и родители вполне усвоили положенную им грамоту. Так что, при желании учиться можно было и тогда. А теперь людей даже в город не отпускают. После отмены крепостного права помещики уже не могли держать крестьян... Но те настолько привыкли к ним, что не хотели от них уходить...

– Ты хотел уехать в город жить? – с сочувствием спросила она.

– А что, разве много тут мы видели денег? Трудодни придумали, но что на них купишь? Хотя бы хлеб давали своевременно... А при единоличной жизни было всё, и ни в чём отказа

не чинили, тогда как нынче только и знают, что страшать запретами... При Ленине было намного свободней... Сталин ведь нерусский, с Кавказа, а у них законы и обычаи горские, женщины работают везде, мужики в лавках да кабаках вино лакают...

С этими его высказываниями Соня отчасти была согласна; ещё живя у Староумовых, она много слышала ворчливые, недовольные замечания свёкра, стеснённого в своих возможностях хозяина, желавшего неустанно расширять своё надворное хозяйство. И выходило, что к такому существованию, работая в колхозе, он вынужден сознательно приспосабливаться; об этом он признавался Жернову, которому такие замашки свёкра почему-то не нравились. От председателя Жернова Староумовы жили через несколько дворов, и в тот раз Павел Ефимович наставительным тоном посоветовал Ивану Наумовичу не показывать свои кулацкие замашки, материально не отрываться от людей, то есть не расширять хозяйство, что Соне пришлось случайно выслушать.

– Ваня, ты того... не шагай размашисто в гору, а то при нынешней власти недолго шею свернуть с покорённой вершины. Мы больше Сизифы, чем Атланты, слышал я эту байку от одного белого офицера. Дак что ежели сам не поймёшь, то тебе ярые советы помогут...

– Тише, Паша, невестка услышит. Сам это ведаю, Павел Ефимович, воздуху, простору не дают, ироды. А жить-то всё равно требо по-людски, а не так, как быдло какое. Вот я, понимаешь, никак их не пойму: то писали в газетах – создадим все необходимые условия для зажиточности всем крестьянам, не жалеющим своего живота для поднятия колхозного строя на небывалую доселе высоту, то потом всех погоняли вредителями и врагами народа?

И подчас вспоминая эти разговоры двух мужиков, Соня помнила как отец говорил, что было время, когда в газетах бросали клич к обогащению, но прошло время и приступили к раскулачиванию, уничтожению середняков, чтобы легче было загонять людей в колхозы. И как тут было не усматривать несоответствие, поначалу вроде бы партия стремилась к созданию зажиточных подворий, а на самом деле уравнивала работающих и лентяев. И многие были вынуждены бросить свои дома и уехать в чужие края. Вот и нынешняя жизнь людей в степи ещё далека от того, чтобы дворы выглядели справными, а пока повсюду зияет вопиющий недостаток и нищета. Людям постоянно требуется мыло, соль, спички, керосин, уголь, и нет то одного, то другого. Чтобы жить сносно, всем приходится изворачиваться в поисках способов побочных доходов. А иначе выжить было просто невозможно. И в такие гибельные условия поставила народ нынешняя власть, о чём, разумеется, вслух на людях никто не распространялся, на лицах земляков всё чаще Соня находила выражение скрытой озабоченности и боли. Ведь многим приходилось выращенное на приусадебном наделе отрывать от себя, чтобы продать на рынке и на вырученные деньги купить детворе обувь, ситчика на платица и рубашки, сукна на штанишки, и тем самым выкарабкаться из трудного положения.

И выходило, что Кузьма был не совсем неправ; в его горьких речах звучала соль истины, что Соня, поразмыслив, была вынуждена всё-таки признать...

Иной раз за вечер люди могут узнать друг о друге столько, что можно приравнять к году знакомства. Но Кузьме казалось, что на свой тревожный рассказ не найдёт у Сони полного отклика. Она не признаёт его приобретённым жизненным опытом воззрений, в которых он не видел для себя очевидной угрозы. Хотя повеявший от девушки холодок отчуждения задевал его, настолько, что он думал – она сейчас убежит от него. Однако Соня всё так же теребила свой пояс, и он, уже посчитавший, что она не разделяет его суждения, был готов услышать непримиримое возражение, но в её глазах появилось нечто смиренное, сочувствующее. И Соне теперь казалось, что она была готова хотя бы частично принять его взгляды, расходящиеся с тем, что происходило в жизни....

Наверное, ещё с полчаса они стояли во дворе и понимали, что больше не нужно ничего говорить, и молча любовались ночным посёлком, окружённым степным затишьем и раскинувшимся над ними сиянием звёздного неба с жёлтым тускловатым полумесяцем, как бы застыв-

шим на одном месте. Иногда набегал свежий, пахнувший хлебом и травами ночной ветерок, приятно будоража и волнуя сознание, точно старался расшевелить чувства молодых людей, стремившихся найти совпадение мыслей и желаний.

– Как хорошо в степи ночью! – сказал приподнято Кузьма. – Ты так считаешь?

– Да, особенно, когда влюбишься, – подхватила весело Соня. – Но я не о себе говорю. Вон по дороге парочка гуляет! – и указала взглядом на движущиеся силуэты: один светлый, другой тёмный. И были чуть слышны их голоса, но больше – мужской. По дурашливому смешку, с продыхом, по голосу, Соня признала Давыда. Если они идут, считай, на край посёлка, тогда это могла быть только Валя.

– А что, сейчас только и гулять! Может, и нам прошвырнуться? – шутливо предложил Кузьма, впрочем, не надеясь услышать её согласия.

– Я не могу, завтра бабы сразу засудачат, что я уже гуляю с другим.

– Ну и что? Вы же не живёте? Ведь он сам тебя оставил! – удивлённо протянул Кузьма. – Что раньше было неприлично, сегодня разрешается...

– Это кем же? – спросила она.

– Да, время такое, все условности побоку.

– Зачем ты так говоришь, и на что ты намекаешь?.

– Я не намекаю и не хочу тебя обидеть..

– А парочка идёт, поди, сюда. Да, это точно Валька! Кузьма, я пошла, – и Соня опрометью умчалась.

Бегство молодой женщины Кузьму повергло в уныние. И оно дало ему понять, что Соня придерживается старых правил или до сих пор любит мужа, или боится молвы. Но это её право. Хотя не мешало бы начать с молодухой близкие отношения. А там гляди завяжется семейный узелок...

Глава 9

С вечерки молодёжь расходилась по домам. Зина уходила вместе с сестрой Капой, которой так хотелось, чтобы за ней увязался Гриша Пирогов. Но тот, держа под мышкой гармошку, пошёл в свою сторону. Не только из разговора с матерью, но и от сестры, Капа знала, что Зина не очень-то и хотела выйти замуж за Давыда. Хотя Капе казалось, что сестра притворялась, и её догадка подтвердилась после сегодняшнего вечера, когда убедилась, в каких донельзя расстроенных чувствах сестра шла домой, что бывший служивый выбрал не её, Зину, а Вальку Чесанову, и это заставило её страдать, что она пыталась скрыть неудачными шутками в его адрес.

Было время, когда Зине нравился Фрол Староумов, который женился на Соне. А когда увидела Давыда, она убедилась, что ей нужен только он, хотя сама мечтала уйти в город. Но мать пугала её городскими кавалерами, что они все непутёвые. «Может, и правда, – подумал она. – Хорошо, что Давыд вовремя пришёл из армии». А когда Фрол бросил Соню, Зина думала, что с ней он бы так не поступил. А потом вдруг осознала: раз не выбрал, значит, он не её суженый. И полностью в этом уверилась, когда Фрол появился в посёлке с другой девушкой, но Зину удивило, что она была ничем не лучше её. И она решила, что Фрол не разбирается в девушках, слепец, одним словом. А вот Давыд совсем другой, и видела, что она, Зина, ему нравилась, но он почему-то выбрал Вальку.

– Не понимаю, что он в ней нашёл? – спросила Капа, которая предполагала, о ком могла думать сестра, занятая своими мыслями.

– Кого ты имеешь в виду: Гришу, что ли? – несколько рассеянно спросила Зина, думая между тем о своём.

– Давыда, кого же ещё! – удивлённо воскликнула сестра.

– Ой, господи, нашла время о ком говорить, – горестно вздохнула Зина и веселей продолжала: – Вот приедут солдаты, она мигом бросит этого косолапого, – и рассмеялась.

– Зачем тогда сама о нём вздыхаешь? И я тоже видела, как ты на него смотрела...

– Ну и что, пошутить нельзя? – бросила Зина. – Если бы я захотела, он тут же стал бы моим! – с хвастливой жеманностью возвестила она.

– Но так можно парня прозевать, – не унималась сестра.

– Да ты сама не зевай, сестрёнка, по Грише ты не одна страдаешь.

– Это тебе точно известно? – рассмеялась Капа. – А почему же он домой один потопал?

– Догони и спроси у него сама!

– А я знаю, потому что Вальку Давыд увёл! Понятно?

* * *

...Рано утром едва вставало солнце, сёстры Половинкины с другими девушками уходили на ферму доить коров и ухаживать за молодняком. И по дороге на колхозную усадьбу, переговаривались, вспомнив вчерашнюю вечерку:

– Я тебе совсем забыла сказать, – начала Капа, – что Стеша недовольна выбором братом невесты. Мало ему, говорит, ухажёрок, кого нашёл, но ты ей нравишься от души, она сама мне призналась.

– А меня это ничуть не волнует, Капа. Лучше смотри за теми, кто стонет по Грише. И твоя Стеша, и Зоя, и Валя, – напомнила Зина.

– Это мы ещё посмотрим, ему скоро в армию. Гриша сам сказал. Не понимаю, чего девчонки, в том числе и ты, гоняетесь за солдатами? Нечего их держать в уме, как общий арифметический знаменатель. Солдатам только бы поразвлечься, что они и делают с Алиной Ермиловой. Ты тоже хочешь такую славу заработать?

– Может, и хочу, а тебе какое дело, только бы люди не знали, – засмеялась беззаботно Зина, потягиваясь на ходу.

– Ну и дура! А мать мне говорила, что Давыд долго в парнях не задержится. Ему нужна семья, дети; думаю, он будет хорошим хозяином, как его отец Семён.

– Пусть девок пощупает, а то, небось, целоваться не умеет, – засмеялась Зина. – Вот ты думаешь, я могу? С одним солдатом целовалась, так он стал кусаться и под юбку полез. Если мне не найдётся славный женишок, тогда запишусь на стройку по комсомольскому набору, давно мечтаю в городе пожить. А потом перейду официанткой в ресторан, ты только подумай, какая красивая жизнь!

– Между прочим, в городе одна блажь, босяки, пьяницы, там порядочных совсем мало, особенно в ресторанах, – сестре действительно казалось, что в ресторане собирались только вору и проходимцы, и она не без озорства прибавила: – А целоваться можно научиться и с Давыдом, – и коротко засмеялась.

– Много ты знаешь, Капа. Ведь ты сама сколько раз была в городе? Мамка тебя нарочно страшит городскими пакостями. Я её повадки давно изучила. Для неё нет ничего лучше коровника и телятника. Да пропади всё пропадом, чтобы губить свою единственную молодость!

– Конечно, работать в колхозе тяжело, плохие условия труда, а в городе намного чище. Но всё равно, мамка права, чем больше женихов, тем вероятней риск ошибиться. Я бы за Давыда пошла с закрытыми глазами, если бы он выделил меня, – притворно вздохнув, грустно прибавила Капа. И украдкой глянула на сестру, желая пробудить у неё ревность.

– У тебя в голове ещё ветер гуляет: то она мечтает о Грише, то о Давыде? Неужели ты не видела, как твоя подруга Нина Зябликова без конца смотрела на него. И Давыд тоже... и после этого ты хочешь, чтобы я на него повисла, как распоследняя шлюха? Много ему будет чести от меня.

– Нина просто любит наблюдать за людьми. У неё самая безгрешная душа. О ней нельзя сказать, что в тихом болоте черти водятся. Это чистый и глубокий омут, она никогда не отобьёт у тебя парня, если даже полюбит его. Нина перестрадает, но останется самой преданной подругой, мы любим говорить о женихах. И плохо, что наши парни не знают этот чистый родник...

– Да откуда тебе знать, что она думает? – спросила нарочно Зина. – Вот и неправда; Алёшка Жернов уже торит к ней стёжку. Я и без тебя знаю, что Нина честная девушка, ей вполне можно доверять любую тайну...

– Слушай, Зина, а я знаю, почему Давыд ушёл с Валеёй. Наверное, она доступна, как Алина Ермилова. Ведь мы с тобой не такие. Между прочим, Чесановы обе такие, Валька бегала к солдатам вместе с Алиной, даже тётка Аня, говорят, завела с Жерновым шашни. А Соня тоже тайком бегала к солдатам, уже будучи беременной. В каменке, говорят, один всегда ждал её. Мне Алина Ермилова однажды говорила. Может, правда, что Соня родила дочку не от Фрола?

– Кого ты слушаешь? Да Алина сама, прости господи, таскается, как последняя шлюха. Поэтому я сомневаюсь, что Валька берёт пример с неё...

– Конечно, своими грехами ни с кем не делятся. Это только Богу всё известно! – засмеялась Зина..

На ферме, в закутке, обитом досками и обложенном соломой, дремал скотник Афанасий Мощев, серые щёки которого заросли суточной щетиной и казались тёмными, как у цыгана..

Проходя мимо него, девушки почему-то прыснули смехом, наверное, потому, что похोдивший на старика, Афанасий всегда поражал их своим донельзя запущенным видом, любивший отпускать грубые остроты, вести неприличные, скабрёзные разговоры в присутствии девок и баб. А порой даже распускал руки, норовя кого-либо ущипнуть за мягкое место. Вот и сейчас, услышав задорный девичий смех, Афанасий приподнял кепку с лица, прислушался:

– Дывчаты, куды пошагалы, али не дывитесь, я поджидаю вас и ныкак нэ встану. Коровы за ночь увсэ сылы из меня высосали, как вурдалаки. Во какие проклятущие животыны! А то я зараз под бочком пригрею, что любо станет нам.

– Вот нам только тебя, зверя, не хватает! – несколько возмущённо обронила Зина. – Дядь Афанасий, спи, пока солнышко не встало...

– Зинок, иды до мэне, сопоставь компанию: тут-ки сенцо... такое гарное, душистое! Я не такой ещё старый, как тебе это выдится. На мою бороду не глядите. Какой я вам дядька, у мэне только борода, а так я сойду ещё за свежего парня!

– У нас безбородых хватает! И как вам только не стыдно плести такое? – недоумённо протянула Зина. – Вот ещё раз услышу – расскажу тётке Наталье, – нарочито пригрозила она.

– Дядь Афанасий, лучше иди из-под коров навоз вычисти, а то нам пора доить, – сказала с напускной суровостью Капа.

– Дэвчаты, дак развэ вы смотрэли – чисто там али грязно?

– А то это первый раз, больно ленивы скотники, дояркам навоз за вас чистить приходится.

Афанасию Мощеву уже стукнуло сорок, однако выглядел он старше своих лет как измятым, припухшим лицом, так и мешковатой, грузноватой фигурой. Хотя особенной, в таких случаях, полнотой тела не отличался. Впрочем, был он чуть выше среднего роста, большеголовый, с коротко стриженным затылком и русоволосым чубчиком, иногда падавшим на серые выкатистые грозного вида глаза, хранившие выражение постоянной, непроходимой ярости. Причём левый глаз был подпорчен бельмом, образовавшимся из-за некоей шалости ещё в молодости, когда напоролся на стебель сухой травы. Из-за увечного глаза он не служил и не воевал. По своей сущности, Афанасий отличался скрытным и злым нравом. А чтобы в глаза это явно не бросалось, он норовил казаться простым, что, впрочем, ему удавалось добиваться дурашливыми, нарочитыми скабрёзными выходками по отношению девок и молодых баб, часто смешивая русские и украинские словечки. Хотя перед ними он без труда скрывал свою жестокую натуру.

Афанасий полёживал на сбитом из толстых досок топчане, устланном набитым сеном тюфяком и прикрытым какой-то дерюгой. А вместо одеяла служил овчинный тулуп; но сейчас он его постелил под себя, чтобы согрел его бока. Однако спать ему уже не хотелось, его разбудили смеявшиеся девчата, и ему казалось – над ним. Но чего они нашли в нём смешного? Шли бы себе доить коров без разговоров, а он без них встанет, конечно, ещё раз пойдёт выгребет навоз и на этом смена его закончится. А в следующую ночь заступит Мартын Кораблёв, с которым они дежурили попеременно. После дойки коров погонят на пастбище Устин Климов, Прон Овечкин. И там, в степи, в обед на стойле их будут доить бабы и девки...

Афанасий встал, словно послушал девчат, молодость которых его по-своему волновала и дразнила. Они-то ему по зубам, да он для них больно стар, хотя старый конь борозды не испортит, глубоко запашет, только эти тёлки в любви ещё ничего не смыслят. И всё равно эти девки для него, как не по Сеньке шапка. Им вон безбородых хватает, вчера молодёжь гуляла, он слышал их песни, что самому захотелось вспомнить молодость. Да стыд всё-таки ещё на месте: хотеть одно, а иметь совсем другое. Вон даже Алина Ермилова, да и та от него нос воротит, что значит молодость – подай молодого кобеля!

Проходя мимо навеса, под которым доярки мыли молочные бидоны под молоко, а некоторые уже сливали из подойников надоенное, Афанасий провёл рукой по спине, бёдрам и по пухлым ягодицам Зойки Климовой, отчего та вскрикнула, как ужаленная и быстро выпрямилась. Афанасий заржал, как изголодавшийся по любви жеребец. За этот поступок его обозвали псом шелудивым, а кто-то из баб ливанул под ноги ему из ведра помои...

Сделав своё дело, Афанасий вернулся опять в закуток, время свободное, можно шагать налегке домой. Но он выжидал, пока высоко встанет и хорошо разгуляется солнце, чтобы идти в кузню к Демиду Ермилову. Поэтому он решил ещё вздремнуть часок, поскольку с кузнецом у него была договоренность на то время, когда тот будет свободным...

Утреннее июльское солнце уже стояло довольно высоко, когда к колхозному правлению из посёлка на наряды стекались мужики и бабы, девки и парни.

Коров на пастбище давно угнали пастухи, и Афанасий теперь окончательно встал размялся, пора было идти в кузню, стоявшую на краю колхозного двора. Над самой крышей, в длинную керамическую трубу, выходил еле приметный зеленовато-серый дымок, относимый слабым ветерком к полю.

В кузне уже всюду стучал о наковальню Демид; мужику, кряжистого сложения, перевалило уже за сороковник. Ермилов ещё в растворённую настежь широкую из двух половинок дверь, увидел шагнувшего к нему чуть враскачку, как будто всё ещё хмельного, Афанасия, державшего в руках инвентарь для починки кузнецу.

Вчера Демид сам немного перебрал, изругался с женой Домной из-за шалопутной дочери Алины, вечно шляющейся неизвестно где допоздна по вечерам. Начиная с этой весны девка, как заговорённая совсем сказала и потеряла стыд, а ему, отцу, из-за неё красней теперь перед людьми всего хутора. Причём Домна чувствует свою немалую вину, однако, долго признаваться не хотела, что дала дочери вольную жизнь и вместо этого бестолково кричала. Вот и сейчас, вспоминая грубую перебранку с женой, испытывая головную боль, ему было вдвойне не по себе. А звон наковальни причинял ещё большую досаду, и он, раздраженно сплюнув, бросил массивный молоток. Впрочем, он знал, что Афанасий придёт не с пустыми руками, был давеча такой с ним уговор...

После яркого, пучеглазого солнца, в кузне было сумеречно: пахло шлаком, металлом и тлевшими в горне чёрно-малиновыми углями, над которыми полыхали голубоватые язычки трепещущего пламени с оранжевыми, перебегавшими по уголькам под самым горном, жаркими бликами.

– Ну чёго, Демид, здоровеньки булы, чи что ли? Я это... вчѐра поработал пока ты дрых без задних ног после забавы с Домной. Когда в город пойдѐшь, сказывай? – спросил Афана-

сий грубо. В разговоре с Демидом он не всегда переходил на близкий ему украинский говор, выросший среди хохлов, так как их село стояло на границе с Украиной.

– Быстрый ты, всё знаешь: сплю или с жёнкой забавляюсь! А у меня ты был? Я осмотрел все закутки, но ни одного аклунка не нашёл, или шуткуешь со мной?

– Вот и хорошо! Надо впредь быть умней. Одна заначка – риск, а две ещё надёжней. Жернова трудно перехитрить: всюду нюхом чует, лазает по колхозу пуще деда Климова. Вчерась в амбаре видел Ивана Староумова, а потом с мешком на плече... И куда, думаешь, потопал?

– Без тебя знаю, лучше за собой гляди в оба, – недовольно проворчал Демид, став пальцами растирать ломившие от боли виски.

– Вот это нам надобно обоим знаты. И они всюду смотрят за каждым, а за собой, вестимо, нет. Норовят нас увсих держать в крепкой узде, чтобы самим промышлять, а мы бы против них не пикали? Мне важно знать доподлинно, что Иван и Паша наживаются из колхозного закрома. Чуть чего, я их, как котят за шкурку и к ногтю, к сапогу своему, чем он пахнет... Завэлись новые мыроеды с партийными бэлетами, их вожды по партии о справедливом строе в газетах пышут. Смех читать, курю их бред и чихаю от справедливости.

Демид вытер мокрый лоб рукавом рубахи, присел на табурет около стола, стоявшего возле окна; в углу был виден сбитый из досок топчан, застеленный овчиной. Афанасий сел на него и смотрел, как Демид сворачивал самокрутку. К словоизвержению Афанасия он отнёсся вполне спокойно, пусть изольёт душу, ему это уже не в первый раз слышать.

– Надо срочно получить от Жернова разрешение на поездку в город, а для этого нужен предлог – придумай, – раздумчиво, в растяжку произнёс Демид.

– Да, тянуть никак нельзя, отсыреет зернишко, – и он пальцем ткнул себе под ноги.

– Почему ты думаешь, что я могу Жернову подсказывать всё, что выгодно мне, а не колхозу? – раздражённо спросил Демид. Надо мной начальников много, всем надобно сковать то одно, то другое и всех я должен слушать? Я ведь, поди, скроен не из железа, у меня тоже нервы...

Видя, что Демид сегодня от неговорчивости злой и хмурый, Афанасий достал из кармана пиджака фляжку.

– Где мерка? – он глянул на ведёрко с водой, закрытое деревянным кружком, на котором всегда стояла алюминиевая кружка.

– На окне, – вяло, немошно произнёс Демид, между тем поглядывая с вожделием на фляжку, в которой оказался самогон, выгнанный самим Афанасием. Фляжка сама по себе была в руках Мощева сущей новинкой, так как раньше Афанасий обходился традиционной бутылкой.

– Фролу заказ сделал, привёз, уважил, хорошая для такого угощения посудина, да? – молвил удовлетворенно Афанасий, подобрев.

– Давай – не тяни, башка лопается! – нервно отрезал Демид.

Налив треть кружки, Мощев подал её Демиду, снявшему с гвоздя тормозок с харчами...

* * *

Пока Демид и Афанасий обговаривали очередной способ сбывания в городе наворованного Мощевым за ночь зерна, этим временем (после развода колхозников по нарядам Костылёвым) Староумов поспешил в контору срочно свидеться с Жерновым, чтобы сообщить председателю чрезвычайно важную новость. Он не любил, чтобы его видели люди, поэтому подождал, пока народ разойдётся по работам. И вот возле конторы, выстроенной несколько лет назад по образцу хаты, было ни единой души. Староумов быстро шагнул в контору, где обычно сидели Марфа и бригадир Костылёв, а ведь в своё время ему тоже здесь отводился угол. Однако Староумов уговорил председателя оставить ему рабочий стол в амбаре, чтобы находиться

поближе к ответственному участку своей работы. И такой довод Жернова вполне убедил, кладовщик отстоял своё место. Хотя сам он, Жернов, понимал, что пошёл на поводу у кладовщика, которого в глубине души презирал и боялся за то, что тот втянул его в тёмное дело, из которого не мог уже выбраться. Поскольку он и сам понимал, что сейчас в одиночку не проживёшь, – особенно в колхозе, когда ты полнокровный хозяин и находишься у всех на виду, за тобой стоит весь народ и надеется, как на родного отца. Это ощущать было приятно, но далеко не все смотрят на тебя, как на Бога, есть злопыхатели; они следят за каждым твоим шагом, чтобы скорее оступился. А этого он не мог допустить. Когда он так думал, перед глазами вставала фигура низвергнутого его же руками председателя Сапунова, который заботился о народе и люди за это уважали и ценили его. И теперь он хотел брать с него пример. Но вот беда – в одном он ему не попутчик, партия требовала, чтобы колхозники не растаскивали колхозную собственность. А Сапунов им всё позволял... «Ну вот и надозволялся, что загремел, и моё письмо тут ни при чём, – думал про себя, желая оправдаться хотя бы в своих же глазах. – А с другой стороны, если бы я его, того... не подкузьмил, так Сапунов бы меня столкнул, когда пронюхал мою спайку с кладовщиком. Вот оно какое дело, а я и не думал раньше так. Да, ядрёный корень, жизнь нас и столкнула лбами, что искры полетели, а его так даже в клочья разнесло. Да, тут уж кто кого; и рази я виноват, что так всё сложилось. Моя капля всего, а остальное Пронырин влил, он и сам боялся Сапунова, это тогда мне стало понятно, но не сразу, энкэведешник надумливал... И пусть теперь люди не гnevятся в мою сторону, а была бы моя воля – всё бы им объяснил, но нельзя перед ними распахиваться. Может, они так и не думают, а это мне самому только так мерешится. И к чёрту всех!..»

Когда перед конторскими предстал Сатроумов, Жернов дописывал служебную записку для выступления на районном совещании партактива о ходе уборочной страды. Писать записку он начал ещё вчера дома, а теперь вычитывал и заодно ждал, пока Марфа подготовит ему бухгалтерский отчёт. На районные совещания Жернов никогда не брал свою жену, чтобы лишний раз не возбуждать против себя кривотолков у других председателей колхозов. Причём до Пронырина уже доходил слух, что его жена в колхозе и счетовод, и бухгалтер. И секретарь советовал устранить этот перекося, чтобы послал на учёбу молодёжь, что тогда Жернов и пообещал ему: как только окончит школу сын агронома Зуева, так он сразу отошлёт его на бухгалтерские курсы...

Староумов, поздоровавшись с членами колхозного правления, обратился к председателю:

– Павел Ефимович, нельзя ли тебя потревожить, мне тебе нужно сказать что-то очень важное...

– Ну, скорей выкладывай, что там у тебя, Иван, мне некогда, а тут все свои, – Павел Ефимович, как занятый человек, ответил не глядя на того, чтобы Макару не закрались нехорошие подозрения.

Но видя, что Староумов многозначительно молчал, и даже более того, ничего не говоря, он вдруг вышел из конторы, Жернов тут же озадаченно поднялся, надел фуражку с околышем, защитного цвета и быстро пошёл за ним, так как догадался, что тот не стал бы этак загадочно увлекать его на улицу...

Отошли от конторы, остановились рядом с подраставшими молодыми топольками. Утреннее солнце уже светило очень ярко, слепя нестерпимо глаза. И тотчас горячо заприпекло спину и голову. Жернов, не ожидая ничего хорошего от разговора, надвинул фуражку на глаза, с хмурым видом огляделся по сторонам и выжидательно посмотрел на кладовщика.

– Помнишь ли, Павел Ефимович, как-то ты мне говорил, что с тока дескать, бабы и мужики в чём попало тащат зерно в связи с тем, что будто бы я сплю? Хотя ты хорошо знаешь, что это не так?

– А что ж ты хотел, чтобы я тебя и вслед и не вслед нахваливал, что ты сова – это мне хорошо известно. Да, вынослив, дай Бог так каждому. И с какой ты стати это говоришь: если не спишь, значит, нашёл тех, кто тащат зерно? Неужели воришек изловил? – оживился Жернов, понимая теперь, что кладовщик принёс хорошую весть.

– Почти угадал, Павел Ефимович, конечно, ещё за шкирку не взял, но этот час уже близок! И зернишко течёт мимо нас вовсе не с тока, а из-под амбара. Под днищем по земельке оно рассыпано. И кто-то этак ловко следы замечает. Дак зёрнышко, что вода – загорнёшь, а оно лезет тебе наружу в другом месте. На животе забрался под амбар и увидел забитую чоклом дыру под ларями.

– Сколько, по-твоему, это продолжалось, прикинул? – от сообщения сторожа запекло у Жернова под сердцем, глаза сузились и его смуглое от загара лицо приняло бурый оттенок.

– Да кто его знает! Но думаю, недолго... зерна в ларях хватает... – Но тут Староумов должен был слукавить, так как почти после каждой ночи зерно заметно таяло и ему приходилось досыпать свежего, чтобы Жернов не уличил его в воровстве... И одно время пребывал в недоумении: разве он так часто выгребал зерно, что уже сам не упомнит, как выпала явь из головы. И было так отчаянно и муторно на душе, что решил укараулить воров...

– Но сам-то ты эту дыру не мог случаем проколупатить? – лукаво спросил Жернов, прищурясь. А может, сам из амбара выгребал, Иван? – прибавил жёстко тот.

– Избавь Бог, Павел, но плохая у тебя шутка. Я наоборот пополняю запас, ведь это семена, – сверкнул он недобро в испуге глазами.

– Но кто, по-твоему, это мог быть: дед Климов, Мощев, Мартын Кораблёв? Кого можно призвать к ответу? – сурово глянул Жернов, словно ещё не веря в искренность кладовщика. – А может, из посёлка Семён похаживает? От аспиды всё можно ждать, так баю?..

И как раз в это время из кузни вышел Афанасий Мощев, лёгок на помине. Конечно, он увидел издали председателя и кладовщика, остановился. Решил было к ним подойти, затем передумал, лишь помахал начальству рукой и пошагал своей дорогой в посёлок, который хорошо был виден с колхозного двора. Он лежал в пологой низине, где по обе стороны балки стояли белёные хаты.

Жернов и Староумов многозначительно переглянулись, тая каждый от другого некоторое недоумение, вызванное сейчас неожиданным появлением Мощева, которого втайне они оба побаивались и остерегались. Они внимательно, словно под воздействием некоей магии, как важную персону, проводили скотника глазами, удалявшегося по грунтовой дороге, накатанной грузовиками, бричками, возилками и линейками.

– Не понимаю, зачем Афанасий похаживает к Ермилову? Вот так уже не раз видел у кузнеца, – прикинувшись простачком, сказал Староумов. – Отдежурил, так иди себе домой, однако, в кузне, будто мёдом намазано, – рассуждал кладовщик.

– По делу... я сам видел, – недовольным тоном заговорил Жернов оттого, что он должен ему пояснять. – Носил Демиду поломанные вилы и скребки. – Жернов помолчал, потом вспомнив, сказал: – Твой Фрол, говорят, хочет жениться, девку со стороны привёл? Как это понимать? Сонька, чем для вас плохая сноха?

– Да чего вот... привёл, мы, думаешь, рады? Но увидели: Раиса как раз для него, видная, гарная девка, за Фролкой тенью ходит. Скоро он будет специалистом на всю округу, – с гордостью ответил Староумов. – Спасибо, Павел Ефимович, что тогда нас уважил. А Сонька, какая с неё хозяйка, ведёрко не подымет, разведётся Фрол и хорошо будет...

– А слышал ли ты, Матвей в зятя принял Кузьму Ёлкина, присланного в МТС? – как бы про между прочим сообщил Жернов. – Вот тебе и Сонька, с дитём не пропадёт!

– Хозяин барин, Матвей мужик башковитый, кого зря бы не позвал к себе, авось в зятя всерьёз примет станичного казачка, – едко усмехнулся Староумов, нахмурил брови, видно, эта мысль на самого произвела нехорошее впечатление, а чтобы её отогнать, начал без перехода: –

Так что я хотел сказать, да, прижучу я гадов ползучих, нечего попускать, неровен час, скоро так все натортят дорожку к колхозному амбару, как к своему. А то мне эти просверлённые дыры мало того, что уже снятся, так подрывают мой авторитет сторожа...

– Вот-вот, понимаешь, что в твоей службе проруха образовалась! И пока злоумышленников не выведешь на чистую воду, надо молчать, а то партия такого срама мне не простит. Попустим одних – другие возьмутся, ведь хлеб, как золото, соблазняет, а ежли все кинутся, тогда нам спасения не будет, Иван! А сейчас как никогда партия взяла строгий курс против казнокрадов и стяжателей, вредителей и расхитителей!

– Я заверяю, что буду всех держать в узде, как раньше. В свои владения никого не допущу!

– Это как понимать, Иван, управляющего из себя строишь, как при помещике? Брось мне эти пробарские штучки! Колхозные владения – безраздельны, чтобы больше я не слышал эти единоличные замашки!

– Да я имел в виду себя, как сторожа и кладовщика, – стал оправдываться Староумов, – Ведь кто, как не я отвечаю за сохранность колхозного имущества!

– Ладно, как-нибудь вечером поговорим. Мне надо в город, спешу. Забот полон огород. Это тебе не в амбаре мышей считать, сколько каждая утащит зерна...

Жернов, слегка сутуля спину, пошагал в контору, думая о сообщении Староумова, обнаружившего под амбаром дыру, проделанную для хищения зерна. А не сам ли он, каналья, просверлил, чтобы на кого-либо свалить? Если это так, то, конечно, никого за жабры он не возьмёт. Просто захотел перед ним, председателем, выслужиться, дескать, дежурит он бдительно. Но если бы это было действительно так, то этой дыры он бы не допустил. Неужели злоумышленники уже хорошо изучили повадки сторожа, и когда тот отлучается с колхозного двора, они и проворачивают свои дела? И наверняка ночным ворами уже давно известно, что Староумов таскает зерно на два двора. Эта догадка так настолько напугала его, что у Жернова неожиданно сильно забилося сердце. Но он тут же отогнал от себя нелепые домыслы, решив самолично заняться выяснением обстоятельств хищения зерна. И тут он вспомнил, что в районе у него есть надёжная опора в лице секретаря Пронырина. В случае чего, он поможет выкрутиться из самого безнадёжного положения. А те, кто вступили на дорожку расхитителей колхозного добра, должны опасаться его, председателя, как огня. Но если проворачивают свои воровские дела, выходит, не боятся? Эта догадка больно задела Жернова, и он решил сам заняться выявлением злостных расхитителей колхозного добра... И забыл, как ещё совсем недавно у него возникло опасение, что если начнёт людей подводить под монастырь, то они во время следствия его самого могли взять за жабры, то есть, чтобы проверили всё его подворье на предмет выявления у председателя больше полагаемого зерна...

Часть вторая

Глава 10

Однажды Зина пришла с колхозной дойки, сидела за столом, облокотясь на руки и о чём-то сосредоточенно задумалась. Впрочем, она отлично знала, что её так сильно донимало, особенно в последнее время. Именно из-за дурного настроения ей даже не хотелось идти на вечерку. Собственно, не то что бы совсем, просто надоело смотреть, как Давыд в который раз подряд уходил с поляны с Валею Чесановой. А тут ещё, после того, как навозишься за день с коровами, Зина чувствовала себя разбитой и усталой. И это продолжается изо дня в день, почти без выходных, без отпуска, круглый сезон. Поэтому недаром она мечтала о городской жизни. Но осуществится ли она когда, Зина не знала. Если выйдет замуж за Давыда, то навряд ли, поскольку город Давыда ничем не прельщал. Может, это даже хорошо, что Валька стала с ним встречаться. Но подумав так, она начала испытывать ревность: почему Давыд предпочёл её, Зину, Вальке? Вот так же больше года назад она задавалась тем же вопросом, безнадежно сохнув по Фролу Староумову, даже когда он был женат на Соне. Почему Фрол женился на Соне, тогда как её, Зину, почти не замечал, а если и замечал, то оставался равнодушным? И вот уже три месяца Фрол и Соня не жили вместе, и когда он уехал снова на учёбу, у Зины к нему всё прогорело. Значит, он был не её суженый, а тут и новый кавалер подоспел, но и к нему, она чувствовала, не очень присыхала сердцем. А если оттолкнёт его, то и этого может упустить... Но она больше не хотела о нём думать, тут другая ситуация складывалась из наускиваний её матушки...

С того дня, как пришёл из армии Давыд Полосухин, Ульяна Степановна, мать Зины, надумлиwała дочь ни в коем разе не упустить, не отдать другой хорошего жениха. Пусть он с виду выглядит, несмотря на коренастость и вальяжность, этаким неуклюжим, зато очень работающий, старательный. И самогоном, как иные хлопцы, чрезмерно не увлекается, вот за что надо ценить парня, а с лица воду не пить. Поэтому Зине нечего выжидать какого-то особенного, а то не ровен час и этого проморгает, девок в посёлке нынче больше, чем парней. А о городе лучше забыть насовсем, городская жизнь, кроме неисчислимых страданий, ничего хорошего не принесёт. Наверно, мать в этом была права, когда норовила страшить её городом.

– Вот дочка, я тебе самый верный путь указываю, – говорила наставительно Зине мать. – Смотри мне Давыда не упускай, а то оглянуться не успеешь, как наши проворные девки его выхватят у тебя из-под носа.

– Маманя, да он ещё не мой, как же я запрешу другим? – с протяжной манерностью отвечала Зина.

– А я что тебе советую, сделай так, чтобы стал твоим! Сколько сейчас невест подросло, что потом не заметишь, как его проморгаешь! – твердила своё Ульяна Степановна.

– Ну и скатертью дорога, быстрее, поди, в город уеду. Вот там уж точно я буду нарасхват...

– На какой смотря расхват, дочка, ты думай, что говоришь. Кто тебя туда отпустит из колхоза? Прошли давно те времена, мы теперь как крепостные, какие были в старину. Мне, помню, моя бабка рассказывала. Она тогда неплохо жила, при помещиках-то...

– Ну ты даёшь, маманя! При барах, хорошо жили? Я впервые от тебя это слышу, чтобы при помещиках привольно жилось. Я, если так захочу, то и спрашивать не буду – уеду и всё! А зачем я буду век тут гнуть спину в коровнике? Уже без того лицо всё обветренное, грубое! – брезгливо проговорила Зина. – Охота становиться старухой раньше времени?

– Что ты напускаешь на себя дурную блажь, Зина? Ведь в городе тебя никто не ждёт. Ни один городской с образованием не посмотрит на деревенскую, разве что сгодишься для развлечения. Ты бы больше о Давыде думала, как его не упустить!

– Вот сяду и буду гадать: да как же мне его не проворонить? Да и кому он нужен такой неотёсанный! – злорадно протянула Зина.

– Глупая, да рази у тебя глаз нет? Поучись-ка зазывать взглядом. Вот он и поймёт, а то, небось, смотришь, как сычиха? Вот бывало я девкой, как поведу за ними глазами долго, так за мной целый табун! – полусмеясь-полусмущаясь отвечала мать.

– Это ты чему меня учишь, маманя? – округлила глаза дочь, покраснев оттого, что мать посягнула на своё сокровенное или нарочно подучивала её неприличным манерам?

– Так по-твоему, я шалопутная была? – в оторопи протянула ещё нестарая мать, родившая последних дочерей Капу и Майю с промежутком в несколько лет.

– Я не знаю, что у тебя и как получалось с отцом и разве я так сказала? – растерянно пролепетала Зина, опустив голову. И всё равно для неё было страшно любопытно узнать, как в молодые годы матери парни ухаживали за девушками. И вообще, какие тогда среди молодёжи преобладали нравы. Её советы теребили сердце девушки, заставляли по-новому смотреть на Давыда и на себя. Собственно, Зина ничего плохого не видела в том, как в свою молодость мать умела завлекать парней. Ей было не столь важно, насколько мать перед ней была искренна, однако хотела знать, как отец сделал ей предложение? Но об этом она постеснялась спросить и не спешила признаваться себе, что с какого-то времени жила в заветном ожидании, когда Давыд отважится на то же самое. И если это произойдёт, она нарочно ему скажет, что должна хорошо подумать, прежде чем ответить. И у Зины живо разыгралась фантазия, как Давыд, не достигнув своего, станет ходить за ней и упрашивать; она же ему холодно ответит, что его приставания ей порядком надоели. Но он проявит настойчивость, и так умается, что она, натешив своё самолюбие, даст ему согласие стать его женой. Говорят, по обычаю девушки обещают парням верность и любовь. Но Зина не испытывала к Давыду большого чувства, и как в таком разе она может обещать ему любовь и верность. Но ей будет достаточно, чтобы он любил её. И у Зины даже поднялось настроение, усталость как рукой сняло. И когда Капа пришла с огорода, где выпалывала по картошке сорняки вместе с матерью, они вскоре отправились на молодёжную поляну, откуда уже доносились звучные переливы гармошки...

На вечерку сёстры Половинкины никогда не приходили в числе первых. В этом неизменно преуспевали близняшки Овечкины, Ольга и Арина, Зоя Климова и Нина Зябликова, несмотря на то что не все они жили напротив поляны. Зина впервые заметила, с каким интересом на неё пялился Гриша, словно говоря: «Что ж ты от себя отпустила Давыда?» Она прошла мимо куривших в стороне от разгоравшегося костра парней, даже ни на кого не глянув, которые, словно мстя за её невнимание, как-то вразнобой, недружно засмеялись. И когда Зина обернулась, желая понять, чем вызвала у них смех, она увидела приблизившегося к ним Давыда, который уловил её презрительный взгляд. Но бывший солдат не знал, что он относился не к нему, и тогда она сменила его на деланную улыбку: «Что это он с ними шушукается? – подумала она. – Не открылась ли ему загадка Вальки? Вон как зубки скалит!» Но Давыд смеялся оттого, что ему казалось, будто девушка высмеивала его, так как догадывалась, что он не знал, как заговорить с ней.

Между тем Давыд только краем уха ловил байки ребят, а сам не сводил с девушки пристального взгляда. Зина построила зазывно-озороватую улыбку, чем невольно поощряла его к активным действиям и ещё больше укрепляла в нём заветное желание.

Сумерки иссиня-чёрным пологом накрывали вытоптанную танцорами поляну. Возле кострища возились подростки, подбрасывая в разгоравшийся огонь пучки соломы, объедая кукурузных будыльев; и они быстро разгорались трепещущими малиновыми всполохами. А потом затрещал, оглушительно выстреливая, сухой бурьян и хворост. Запахло горелым,

в воздухе летали тёмно-серые пепелинки. И жаркий огонь, подхватывая их, взметнулся кверху пересекающимися яркими языками, выхватывая из темени ладные фигурки девушек в пёстрых платицах, что казалось, от яркого огня их волосы тоже вспыхивали. И Давыд, словно с кем-то на спор, вдруг издал рукой поманил к себе Зину. Она инстинктивно отошла от подруг в тень, и ждала его, пока ещё не начали танцевать. «Ага, наконец осмелился! – весело подумала она. – Что же он мне скажет, что любит меня и просит моей руки? Но я ещё посмотрю на его поведение, и подумаю, согласиться ли...»

«А Валька Чесанова чего это ради сегодня опаздывает на вечерку?» – мелькнуло у Зины и она больше не думала о ней. Но девушка не знала, что Давыд о её сопернице уже успел переговорить с Гришей: дескать, когда она придёт, чтобы ни в коем случае не отпускал от себя! И прежде чем подойти к гармонисту, он выяснил у Алёшки Жернова, что его соседу Грише она нравилась. И бывший солдат решил прекратить бессмысленные ухаживания за ней, чтобы не обнадёживать сердце девушки несбыточной мечтой.

Однако на призывы Давыда Зина лишь отрицательно покачала головой, чем несколько смутила его. Но в следующую минуту по её намёкам он понял, что она ни за что не подойдёт к нему первая. И он, не выпуская изо рта папиросы, пошёл к ней сам. Зина стояла в тени и кокетливым смешком продолжала поддразнивать Давыда, так как он ещё не проронил ни одного слова. Как-то резко, озорно заиграла гармошка. На свежем, молодо сиявшем лице девушки блуждала странная улыбка; ей так и хотелось спросить, почему же ухажёр не знает простого, что девушки не подходят к парням первыми, даже если они их очень попросят.

– Это, значит, ты и есть старшая Половинкина? – неловко улыбаясь, наконец спросил Давыд, раскуривая папиросу, несколько унимая этим самым волнение.

– Разве ты слепой? – небрежно усмехнулась Зина, всматриваясь в его неестественно бордовое лицо, на котором плясали оранжевые блики костра.

– Да пока зрячий! Просто, когда уходил служить в армию, ты была мне по пояс. А вон, в какую гарную барышню вымахала!

– А разве тогда я была уродина? – чуть ли не серьёзно возмутилась девушка, однако нашла в себе силы подавить это чувство.

– Зато такой махонькой-махонькой! – продолжал он куражиться, но без всякого зла.

– Будто ты не был таким! – с вызовом бросила Зина, пытаясь уловить, насколько у него глупых мыслей было больше, чем умных.

– Ты вынуждаешь нести всякую чепуху, не пора ли нам перейти к любви, которая, думаю, к нам уже приближается!

– Слава Богу, а я уже не рассчитывала услышать от тебя что-то хорошее, – вздохнула Зина. – И кто же первым должен начать? – игриво спросила она.

– Давай начнём с меня! Я про шутки забываю, когда мне кто-то нравится...

– Сперва это была Валя Чесанова, а теперь я? – поддела Зина.

– Сначала была ты, а потом снова ты, а то был такой небольшой шаг в сторону, как оплошность в учении, которую я вовремя исправил, вернее, сейчас исправляю. Я вообще великодушный и терпеливый, это ты узнаешь, когда поженимся!

– О, сколько самохвальства и самодовольства! А если у меня жених есть и уже сделал предложение? – отчеканила она.

– Кто? Гришка Пирожок? – шёпотом произнёс Давыд. – Он ещё сопли под носом вытирает, ха-ха! Или какой-то солдат из тех, что тут стояли? Кстати, вон и соперница идёт, – сказал Давыд, поглядев, как из рассеивающейся от костра темноты показалась девушка. И как по команде гармошка умолкла, Давыд и Зина посмотрели на гармониста, сидевшего на ящике. Но он, точно устыдившись их, вскочил и метнулся к Вале Чесановой, обхватывая её рукой за талию, стараясь усадить девушку на своё место.

– Тебя она так интересуется? – скривилась Зина. – Можешь брать и уходить... Но Гриша её почему-то уже перехватил, – и тут же как —то злобно засмеялась...

– Нет-нет, Зинок, всё уже решил – да от тебя ни за что! Мои слова, как танковая броня: если с тобой, то всё – назад не ворочусь! – и между тем кинул взгляд в сторону Вали и Гриши, которых сейчас как нарочно загораживала молодёжь. Но он увидел, как Валя зорко смотрела по сторонам...

– Смотри, небось тебя зазноба ищет. Я догадалась: это же самое ты Вальке тоже говорил? – и пытливым взглядом колькнула того...

В этот момент снова беспечно и заливисто заиграла гармошка, призыв которой к веселью и танцам, песням и частушкам был таким настырным, что Зина начала на месте притопывать каблучками туфель, при этом строя Давыду глазки. И откуда-то сбоку зазвенел задорный девичий напев: «Хороши, ой, да хороши, у милого глазёнки! А его сердце трепещет по моей сестрёнке!...»

Зина, разумеется, узнала, кому принадлежал этот озорно взвивавшийся ввысь и плавно опадавший припевками голос, и она быстро оглянулась и сквозь разгоревшееся, высоко взметнувшееся пламя костра увидела направленный на неё весёлый взор сестры Капы.

– Во, даёт! – воскликнул Давыд. – Как из танка прямой наводкой. Зинуля, пошагали отсюда, а то уже артобстрел начали. Погуляем хотя бы разок да выговоримся сполна!

– Так ты шутишь или серьёзно? – переспросила Зина.

– Пойдём, тогда всё узнаешь, – загадочно проговорил он, и они тут же пошли, постепенно поглощаемые темнотой. Зина слегка задумчиво склонила голову, как бы глядя себе под ноги. Давыд пока шёл молча, всё ещё не веря, что наконец-то он со своей девушкой, которая согласилась принять его ухаживания.

– Ну, так что я должна узнать? – спросила Зина, кося взор на кавалера, когда костёр, поляна, молодёжь, давно остались позади.

– А то, что с первого дня я в тебя втрескался по уши. И вообще, Зинуля, хотел бы, чтобы ты стала моей женой...

– Ой, мамочка, как обухом по голове! – Зина даже приостановилась, как вкопанная, охваченная внезапной оторопью, и её голубые глаза радостно засияли. – Но что из этого может получиться? – со смехом, ласково прибавила она.

Он не знал, что ей ответить и сказал первое, что пришло на ум:

– А что-нибудь получится! Я не могу красиво говорить, уж не взыщи, как умею. Считаю, что я за тобой ухаживаю уже всю неделю...

– Вот уж, пожалуйста, не ври, а кто наемни Вальку провожал? Если бы она пришла раньше меня, наверное, опять пошёл с ней?

– Это получилось не по моей воле, тогда ты всю вечерку голосила и дрыгала ногами... Но всё равно я думал только о тебе...

– Какой врун, какой врун! – в ужасе произнесла Зина. – Полегче, Давыд, ты даже так не умеешь дрыгать ногами. Или чёрт тебе ноги спутал? – ехидно засмеялась девушка.

– Я православный христианин, танцульками не увлекаюсь и нечего смеяться! – Давыд высматривал на её сумрачном от темноты лице продолжение насмешки.

– Между прочим, верующему человеку врать грешно, – наставительно произнесла Зина. – Может, это в армии солдат учат врать, чтобы врага ввести в заблуждение?

Они уселись на траву перед спуском в балку. Давыд снял с себя китель и заботливо им прикрыл плечи девушки. Сидели молча, на той стороне в хатах брезжили огоньки. Через минуту попытался обнять Зину, но у него это получилось как-то неуклюже. Девушка враз опустила стыдливо голову, продолжая сидеть молча. Зина вспомнила, как Давыд сделал ей предложение, на которое ничего не ответила. И если бы сейчас он вновь повторил признание в любви, она бы не знала что ему ответить.

– Ты проводи меня домой, – предложила она, чтобы только не молчать. Да и чернота окружала, нагоняя жуть, и только звёзды успокаивали.

К её удивлению, он встал, так как думала – сейчас начнёт уговаривать ещё побыть с ним...

Когда подошли к подворью Половинкиных, Давыд решительно привлёк девушку к себе за плечи и попытался поцеловать. Но его губы только коснулись её сухих жарких губ, и как-то неловко скользнули по щеке оттого, что Зина откатнулась от парня, как от раскалённого огня, шутливо хватаясь рукой за губы и прижавшись спиной к деревянной калитке, глядя сквозь сумрак ночи на Давыда, еле различая его грубоватые черты лица, которое сейчас казалось чёрным и страшным.

– Кто так целует, ты же совсем не умеешь! – воскликнула она удивлённо и вдруг приснула смехом. – Разве Валька не научила?

– Какая умелка нашлась! – сконфуженный бесцеремонной отповедью и насмешкой девушки, Давыд совсем потерялся. Но потом быстро справился с оцепенением, предложив: – Давай посидим на лавочке и вместе поучимся.

– Какой быстрый! А может, мне нечего учиться, – заметила девушка, строя глазки, видя его еле проступавшее лицо при свете звёзд.

– Да? С кем успела? А, понятно, значит, тоже бегала с девками в греблю к солдатам? – язвительно поддел Давыд.

– Вот это не твоего ума дело! – отрезала она.

– Ошибаешься, Зинок, коли хочу на тебе жениться, уже моего. Вот потолкую с батей, и сватов к вам обязательно к исходу августа зашлю!

– Неужели тебе неинтересно знать, как я отношусь к твоему предложению? – спросила она.

– А что, разве ты сватов выпроводишь? Зато потом будешь рада!

– Как ты, однако, самонадеянно судишь! – покачала она головой не то от досады, не то от восхищения. – Но это мы ещё посмотрим, как у нас всё обернётся, – весело прибавила она. – А может, ты надо мной изгаляешься, я слышала, каким ты был до армии...

– Я весь перед тобой, смотреть, поди, есть на что, Зинуля? Наши с тобой сородичи столкуются, сговорятся, а нам останется лишь покорно их выслушать, о чём порешат. И нечего долго рассусоливать, амурами там разными увлекаться грешно...

– Как ты чудно рассуждаешь, равно по-стариковски, Давыд. Я без любви замуж не пойду за тебя. А ещё в армии служил, – как-то обидчиво упрекнула она с ноткой изумления.

– Ну и что, важность великая – любовь! Неужели думаешь, что в армии обучают премудростям любви? – резво засмеялся кавалер, понимая, что в чувствах он абсолютно не разбирается.

– Значит, ты в любовь не веришь, но как же тогда ты в Бога веришь, а ведь в Библии сказано: возлюби ближнего, возлюби свою жену? – поучительно изрекла Зина, испытав разочарование на такое отношение Давыда к любви.

– Ну, знаешь, Зинок, ведь Библия – это не жизнь, а свод евангельских заповедей, – посуловел Давыд, доведённый ею до отчаяния, что девчонка пытается учить его уму-разуму. – Ты хочешь, чтобы я тебя как на базаре выторговал за любовь?

– Но я тебе ничего не предлагаю. Можешь катиться к Вальке! – подхватила Зина, и тотчас, толкнув ногой калитку, убежала домой, оставив Давида в оторопи с разинутым ртом.

«Видали барышню, – с обидой подумал он, отойдя от калитки, – как будто она такая опытная по части любви, что у меня от её претензий ажник уши заболели! Любви большой захотела, а бублика не хочет. Ну, я всё равно от неё не отступлюсь. А Гришке все клавиши на переборке пересчитаю, всех девок к себе загрёб!»

Между тем таким пренебрежительным отношением к нему Зины, Давид чувствовал себя ни за что униженным. Причём ему и самому было донельзя стыдно, что действительно по-

настоящему он не умел целоваться. Вот с танком в армии он лихо обращался, а тут с девахой никак не управится.

* * *

На следующий день он с остервенением пахал по жнивью самое дальнее поле, и почти всё это время перед глазами стояла Зина. Когда устал о ней думать, она, казалось, ему удалялась от него всё дальше и дальше, а он, как умалишённый, за ней на тракторе, и с такой одержимостью вспахал всё поле.

Вечером на заветной поляне он появился позже всех. Давыд тревожным, нацеленным на всех девушек взглядом, высматривал свою зазнобу, для чего даже подходил к ним ближе, покуривая на ходу, не замечая того, как глубоко втягивал в лёгкие дым и потом струёй выпускал в сторону, чтобы ему хорошо было видно окружающих. Когда высмотрел её, начал буквально поедать девушку глазами, полными злой печали оттого, что вчера она высмеяла его неумение целоваться и теперь он исподлобья взирал то на гармониста Гришу, то на Зину и не спускал с неё придирчивого взгляда, словно спрашивал у неё: а умеет ли тот то, в чём она ему отказывала? Но тот смотрел на Валю Чесанову, и тогда Давыд понял, что напрасно изводит себя глупой ревностью, так как Зина им совсем не интересуется.

А ей, видевшей злое, нелюдимое лицо Давыда, как-то было не по себе, отчего сама неприятно хмурилась. Но потом больше не старалась на него смотреть, пытаясь вести себя неприуждённо, пробуя даже танцевать. Однако сегодня ноги словно кто-то спутывал, и они плохо ей подчинялись; Зина непроизвольно поднимала на Давыда искательный взор, не спускавшего с неё по-прежнему своих настырных, цепких глаз, притягивавших к себе, как магнитом, и она чувствовала себя точно пригвождённой на месте. И она всё чаще и чаще ловила на себе его глаза, преследовавшие её с маниакальным упорством. Собственно, она уже от себя не скрывала, что хотела сама этого, словно некто властно её заставлял подчиняться тайне провидения, толкавшего к Давыду помимо её воли; но даже уйти или спрятаться за чьей-то широкой спиной Зина уже не могла.

А тем временем девушки и пели, и плясали, тогда как Зина сегодня была явно не в ударе, что на неё было непохоже и у девушки напрочь пропало настроение. И тогда ей ничего не оставалось, как незаметно уйти с глаз долой от своего преследователя...

Но не успела она даже скрыться во мраке ночи, мелькая светлым платьем, как Давыд оказался тут как тут, напугав её до смерти.

– Зинуля, куда улизнуть хотела, на тайное свидание, к тому, кто умеет целоваться? – насмешливо отрезал он, беря её за руку. – Нам срочно надо поговорить, услышала она неторопливый, негромкий просительный голос надоедливового кавалера.

– А мне уже всё ясно! Можешь за мной не идти! – нервно бросила она ему в лицо.

– Так ты куда спешишь? Неужто кто-то в степи ждёт? – съязвил Давыд.

– Может, довольно говорить пошлости! – отрезала она.

И тут Зина вспомнила, как мать наговаривала ей, чтобы она не упустила Давыда. И сейчас этот наказ ей было просто смешно вспоминать, разве можно такого упустить, когда он сам лезет напролом. Вроде бы самостоятельный парень, но душа не принимала его. Впрочем, чтобы покуражиться над ней, он нарочно себя так поставил, и ему это доставляло огромное удовольствие. Лучше будет, если она повременит пока принимать решение до окончательного созревания своих чувств...

Так он ходил за ней упорно всю неделю, даже подъезжал в обеденный перерыв к ферме на тракторе, когда она как раз доила коров, которых потом пастухи отгоняли на пастбище.

И вот, убедившись в его постоянстве, простив ему мимолётное увлечение Валею Чесановой, Зина начала понемногу ему уступать, ведь девичье сердце отходчивое, забывающее обиды

и уколы ревности. Наконец наступил момент, когда Зина вела себя с Давыдом уже как с наречённым, как бы сдавшись на милость кавалеру.

Глава 11

Лето 1937 года (самого страшного для народа) на редкость выдалось урожайным и довольно жарким. Нина Зябликова, окончив четыре класса, и вполне осознанно вышла на наряды, понимая, что её помощь семье теперь необходима, как воздух. Хотя во время летних каникул она и раньше работала в поле наравне с матерью. Но тогда она ещё не испытывала себя в полной мере такой ответственной, как теперь, за порученную бригадиром работу. Посылаемая бригадиром Костылёвым в числе женщин и девушек сортировать и провеивать на току зерно нового урожая, Нина чувствовала себя уже вполне взрослой. И действительно, к лету девушка расцвела: оформилась фигура, округлились упругие груди; смуглое от загара красивое овальной формы лицо – карие умные глаза, прямой небольшой носик, выпуклого отчётливого рисунка губки – обрамлялось тёмно-русыми длинными волосами, заплетёнными в косу и могло привлечь любого сердцееда.

Нина немного гордилась, что становилась всё краше и краше. Может быть, этого она бы не замечала, если бы на неё уже вовсю не посматривали и даже пытались заигрывать парни. Однако Нина была чересчур стеснительная, может, ещё оттого, что не имела разнообразных приличных нарядов. Ещё учась в городской школе, из-за этого она немало страдала, наблюдая и сравнивая, какая граница пролегла между ней и городскими девочками, на которых платица и костюмчики были тщательно подогнаны, придавая их облику завидную для неё, непреодолимо недоступную красоту. Как хорошо, что в городе она проучилась всего один год. А потом, когда в посёлке Новая жизнь предназначенное для бани здание приспособили под школу, Нина стала учиться дома. В тот год это событие в её жизни было самым отрадным, поскольку с того времени девочку окружали все свои учащиеся. К тому же в школу пошёл сначала старший брат Денис, затем средний Витя, а на следующий год пойдёт самый младший – Боря. Но зато она, Нина, должна была перейти учиться в школу-семилетку в хуторе Большой Мишкин. Собственно, она перешла в пятый класс и полна была желанием продолжать образование. Но так как семья находилась в постоянной нужде, всем детям катастрофически не хватало обуви, одежды, еды, Нина была вынуждена прервать учение. А ведь начальную школу она закончила почти на отлично: при такой успеваемости надо было только продолжать учёбу, о чём сожалели и мать, и отец, когда Нина больше не пошла в школу.

И выходило, что колхозникам, оказывается, не всем можно выбиться в люди. Вот и они, родители – мать и отец – ещё при царе в церковно-приходской школе получили лишь начальную грамоту. Неужели такая же участь поджидала всех детей Забликовых? И это при всём при том, что советская власть вроде бы радела о всеобщей грамотности, однако многие колхозники были вынуждены обрывать образование, так как за горло постоянно держала нужда. И оттого завидовали счастливым детям из обеспеченных семей, которые без проблем могли продолжать образование. И Фёдор Савельевич невольно задумывался, где же обещанное советской властью равенство, братство, свобода, если одним открыты все дороги, тогда как другим ничего не светит кроме производства и колхоза?

Но что касалось Нины, об этом она не шибко горевала, поскольку больше всего её волновало то, что она подолгу ходила в одном и том же полувылинявшем платице. И это в то время, когда она уже переступила юношеский рубеж, и скоро ждала её взрослая жизнь. А матери с невероятным трудом еле удавалось выкроить денег, вырученных от продажи на рынке в городе молока и сметаны, чтобы справлять ей наряды и обновы братьям. Ведь как-никак Нина уже почти взрослая барышня. Правда, росточка ещё небольшого, зато в фигурке вырисовывается цветущая девичья стать, которая так необъяснимо волнует молодых ребят.

Но может, ещё подтянется и обгонит саму Екатерину, поистине гордившуюся дочерью, старательно выполнявшей всю домашнюю работу. Нина могла уже заквасить для выпечки хлеба тесто, полоть в огороде от картошки до моркови любую культуру, доить корову, молотить в ручную зерно на муку, убирать в хате, стирать бельё. А когда строили хату, сарай, курник, Нина охотно подсобляла матери и женщинам, приходившим им помогать обмазывать глиной стены и набивать ею же чердачные перекрытия. А в последнее время, подучиваемая матерью, общалась к кройке и шитью. Ведь у них издавна имелась своя швейная машинка, часто напоминавшая Екатерине сгинувшего в лагерях брата Егора, от которого так и не получили больше ни одной весточки... Но свои воспоминания она держала глубоко в себе, поскольку нелегко вслух распространяться о том, как необоснованно арестовали брата, что в нынешних условиях было совершенно излишне. Особенно теперь, когда до сих пор в газетах писали о судебных процессах над врагами народа. А если они такие же, как Егор, то есть, по сути, придуманные, оговоренные холуями и прихвостнями власти, тогда страшно подумать, какие неимоверные страдания терпит русский народ!

Конечно, и не без того, были настоящие враги, чинившие препятствия в построении социализма своей вредительской деятельностью. А с ними заодно гребли невинных и сколько же их пропадало по лживым, ошибочным обвинениям? Например, председатель колхоза Сапунов, председатель сельсовета Семакин, колхозный конюх дед Пипка, которых до сих пор безмерно жалко. Но что тогда говорить о брате Егоре, вот как она, Екатерина, бывало сядет пошить швейной машинкой детям рубашки, штанишки и платица, так обязательно на память приходил брат, так и оставшийся не вызволенным ею из неволи. И от этого она, даже спустя годы, испытывала свою неистребимую вину. Впрочем, разве то была вина её одной, когда с приходом коллективизации наступила повсеместно такая суровая, беспощадная жизнь, что люди, порой и нынче гибли, как мухи. Но самое страшное, что вместе с отпетыми бандитами и вредителями, пропадали совсем ни в чём неповинные люди. И, похоже, власти в этом беспределе сознательно разбираться не хотели, о чём вдобавок ещё нещадно умалчивали. А родственники и близкие посаженных молчали, загнанные в тенета безропотного страха. Разве она, Екатерина, его не испытывала как тогда, так и теперь, что всё ещё её не отпустил, как проклятую, за чужие прегрешения, отчего она даже боялась в этом признаться не только мужу Фёдору, но и себе самой. Выходило, что она постепенно превращалась в бессловесное животное? И когда Фёдор, бывало, выказывал своё крайнее недовольство произволом и самоуправством Жернова, она старалась ему дать осторожно понять, что его возмущения совершенно неуместны и лишние. Но самое обидное – Екатерина не могла объяснить мужу о своём страхе, насаждаемом жизнью. И не ведала, как же дать ему это прочувствовать, чтобы был сам осмотрителен да умерил своё никому не нужное правдоискание. А это происходило всё оттого, что он не испытал в полной мере всех, выпавших на её долю, страданий. А иной раз, глядя на детей и мужа, Екатерина всячески осуждала себя за свои тайные думы, что никак не может от них избавиться, дабы жить не отягощённой ими. Но Екатерина вовсе не догадывалась, что чувства и мысли были порождены необъяснимыми действиями властей, что в её каждодневных ощущениях запуталась истина их чуждального бытия. Она даже уже сомневалась в том, действительно ли советская власть хотела построить счастливую жизнь, если этот народ всё ещё продолжал терпеть постоянную нужду, лишения, невзгоды. Но в газетах почему-то власти не каялись, не признавались в допущенных просчётах по результатам сплошной и насильственной коллективизации, доведшей людей до нищеты. Ведь теперь было очевидно, насаждая народу колхозы, власти сеяли вокруг не хлеб, а мор. Вот и они, Зябликовы, как и тысячи других людей, пустились по миру в поисках спасительного куска хлеба от голода, бросили в отчаянии свои родные деревни и сёла...

Но несмотря на большие потери, колхозы, заменившие единоличное бытие крестьян, постепенно встают и крепнут за счёт огромного усилия людей, подстёгиваемых к работе

страхом голода с одной стороны, а с другой – запугиванием властей лагерями да тюрьмам. И от этого, как пишут в газетах: «Жить становится веселей, жить становится лучше». Однако это вполне соответствовало действительности, когда людям предлагали обилие праздников и они собирались в компании пели и плясали, отчего даже рождалось впечатление, будто народ никогда не ведал страшных, опустошительных лихолетий, уносивших миллионы жизней. А то, что осталось позади, в прошлом, что неимоверно столько пережили бедствий, теперь казалось дурным, кошмарным сном... А на самом деле и поныне людям приходилось нелегко преодолевать пока что неистребимую нужду... Одни только дети, возрастая, тянулись к новым реалиям суровой жизни, как к любимой сказке о добром волшебнике самой справедливой страны. Ведь они успели совсем немного застать голодные годы, хотя их тоже достаточно, чтобы помнить, что такое голод. И слава Богу, что война их не задела своим кровавым месивом. Впрочем, Екатерина отнюдь не собиралась беречь память о прошлом и назойливо рассказывать детям о том страшном времени. Они уже живут с чудесной верой в самый справедливый строй на земле, который будет построен в недалёком будущем. Поэтому врываться в их безоблачный мир своими хвоями и болями совершенно ни к чему, чтобы ненароком не разрушить его особенно воспоминаниями о лихой године, доставшейся на их, родителей, долю.

Глава 12

После удачно проведённой летней страды предстоящая зима была уже не столь страшна. Скотине колхозной и частной удалось заготовить сена, соломы, наполнить силосом ямы. А осенью по всем заработанным трудовням колхозникам выдали хлеб, кукурузу. Да ещё вдобавок колхоз вернул задолженность, оставшуюся с прошлого года. Колхозники получили в зависимости от того, сколько выходили дней. А это по одному килограмму на один трудовой день зерна, подсолнуха, кукурузы, а трактористам из МТС выдавали по три на каждый трудовой день. Так что все остались довольны, но некоторые колхозники завидовали трактористам, что труд тех оценивался выше, чем их...

Председатель Жернов чувствовал себя победителем, как выигравший решающую битву полководец. Взять без потерь небывалый урожай злаковых, бобовых, разных овощей, мог только поистине умелый, рачительный хозяин. Весь полевой сезон Жернов неусыпно следил за ходом посевной, за обработкой от сорняков всех культур, не съезжал с полей на своей двухколке. И поэтому основная заслуга в уборочной страде по праву принадлежала исключительно ему. Он тогда спал всего по два-три часа в сутки, а ведь бывали дни, когда ему казалось, вот-вот он сломается, не выдержит огромной физической и моральной нагрузки, где-нибудь свалится среди поля. Но ничего, с честью выдюжил, что потом самому не верилось, как он сумел выстоять в самые кипучие будни. К тому же людей постоянно не хватало, колхозники работали на полях, на току почти весь световой день и часть ночи уже при электрическом освещении. Подростки, молодёжь была вся задействована, на уборку были привлечены многие городские предприятия со своими людьми и техникой: тракторами, грузовиками.

В тот год такое невиданное скопление людей на току и рокот веятельных, сушильных агрегатов, неумолчный людской говор на полях и несмолкаемый рокот тракторов и стрёкот комбайнов, лобогреек и жнеек, на дорогах шум грузовиков – всё это необъяснимо волновало Нину Зябликову. И поэзия страды, и эта романтика движущихся в город с хлебом грузовиков так захватывали воображение, что даже усталость ей доставляла какую-то пьянящую сознание радость.

После косовицы и обмолота зерна тишина на полях установилась ненадолго; тут же стягивалась волокушами с полей солома и на краю стоговалась, чтобы по осени, после вспашки, началась посевная озимых. И тогда рокот тракторов снова висел в воздухе натянутой, с надрывом вибрирующей монотонно тетивой.

И вот давно уже миновала летняя страда; почти обезлюдел ток, колхозный двор; в город с хлебом ушли последние брички и грузовики. На ближних и дальних полях то там, то тут на фоне чёрной пахоты золотыми валунами возвышались соломенные скирды. Но особенно много их – как сторожевых шатров или палаток степного войска – вокруг колхозного двора: стоят поближе к фермам и телятникам, к кошаре и свиарнику, чтобы зимой далеко не ездить за соломой...

Осенью в школе, разумеется, начались занятия, ребятишки сели за парты постигать грамоту. Нина тоже пошла в пятый класс, но дорога в Мишкинскую семилетнюю школу была не ближняя, что порой не только утомляла, но даже наводила скуку. Зато на уроках было чрезвычайно интересно открывать новые для себя знания, расширявшие представление о мире. Ведь Нина была наделена любознательным умом, впитывая произносимое учителем каждое слово, как губка влагу. А если хотелось что-то переспросить, её удерживало стеснение и нежелание выделяться.

Однако вскоре, как уже было сказано выше, не дотянув даже до окончания первой четверти (хотя можно было как-нибудь доучиться год и начать трудовую деятельность), вынудило Нину из-за недоедания, нехватки обуви, тёплой одежды, оставить учение в школе... А тут как раз Жернову востребовались молодые руки, ведь поголовье скота увеличивалось; особенно требовались доярки, телятницы, свиарки, птичницы. Но не одна Нина прервала учёбу, это сделали Капа Половинкина, Зоя Климова, Ольга и Арина Овечкины, Тамара Кораблёва, Стеша Полосухина. Лишь Шура Костылёва, будучи на год моложе своих землячек, по замыслу Макара должна была закончить семилетку при интернате в городе. Жернов ей сделал исключение, а также своим дочерям и сыну, поэтому в посёлке бабы недовольно ворчали на самоуправство председателя. Ему было мало Марфы-учётчицы, он хотел вывести в люди и своих чадушек, тогда как другие дети пусть пахут и сеют землю, доят и пасут коров. Если бы Марфа была хоть немного образована, то это другой разговор, люди бы простили Жернову полуграмотную жену, занимавшую с его согласия тёпленькое место. Но всем давно уже известно, что трудодни вместо Марфы сначала подсчитывал сам Жернов, потом это стал делать сын Алёшка...

Но Жернову уже не первый раз доводилось слышать, как бабы и мужики протягивали его и злоязычно о нём отзывались. Он даже знал, от кого это больше всего исходило. С Семёном Полосухиным он нарочно остерегался связываться, а вот из баб председатель наказывал Пелагею Климову, Ульяну Половинкину, Павлу Пирогову, посылая их на самые тяжёлые работы, чтобы знали как перечесть начальству. Домне Ермиловой он тоже не делал исключения: посылал с провинившимися. Но ей это не понравилось, как-то увидела его издали и, сказав товаркам, что сходит по женскому делу, зашепила перехватить председателя и увлекла его за весовую:

– И што ты меня в каторгу посылаешь? – бросила она с ходу.

– А ты бы меня при всех не полощила своим поганым языком, а защищала. Ещё раз услышу, взгрею по самое-самое... – он помахал перед её напудренным лицом кулаком. – Но смотри мне, чтоб со всеми работала, куда посылаю! Я твоему волю даю: в город ездит, чего вам ещё надо? По-хорошему, так и ты давай, слыхала?

– Дак Паша, Дёмку что отправляешь, это нам на руку, а вот бабы судачат, что у меня с тобой, сам знаешь что... А я им отпор даю и нарочно всем поддакиваю, чтобы о нас дурно не тарахтели... да и Демиду, чтоб тишком не донесли...

Жернов недовольно крикнул, покраснел. Но ничего не ответил, машинально махнул рукой и торопко пошагал из-за весовой, куда его Домна чуть ли не силком затащила...

И перед Костылёвым, как бы оправдывая свои крутые меры, говорил:

– Молоть языками что ни попало горазды, вот пусть одни сеют, а другие мелют кукурузу! – И бригадиру наказывал с этих баб глаз не спускать, чтобы не сидели без дела.

А Екатерине Зябликовой Жернов тоже оправдывающимся голосом пояснял:

– Ничего, Екатерина, станет полегче, твоя дочь будет учиться дальше. Она у тебя старательней многих девок, я её не обижу, не позволю, чтобы на ней ездили самые крикливые бабы, у которых языки длинные, а руки до работы не доходят...

– А что теперь горевать, Павел Ефимович, – отвечала Екатерина, – она и учиться уставала. Ведь ходить в школу не ближний свет, одна дорога только изматывала. А для некрепкого организма на ферме тоже, конечно, нелегко. Но для семьи хоть какая да польза.

– Вот это верно сказала! Я это сразу уразумел, думаю, как-то надо помочь многодетной семье! – ухватился Жернов, чтобы предстать в глазах простой, но умной бабы, таким благодетелем.

Так миновал непростой год для Нины, работа на телятнике и радовала, и огорчала. Радовала потому, что нравилось ухаживать за милыми телятками, а огорчала в непогоду, когда из грязи еле ноги вытаскивала. При всём при том не было приличных резиновых сапог, вместо которых приходилось надевать кирзовые, тяжёленные и не столь удобные для девичьих маленьких ножек, которые сбивала часто до мозолей.

С десятилетнего возраста Нина наблюдала, как люди из землянок перебирались в построенные своими руками хаты. С тех пор посёлок разрастался, хаты вставали, как грибы после дождя. Через три года после его основания по обе стороны балки уже насчитывалось до тридцати хат. И на окраинах улицы продолжали закладываться всё новые, как приезжими, так и своими. Бывало кто-то уезжал, хату свою продавали новоприезжим, а если где-то на стороне не находили лучшей доли, возвращались на старое место. И вот такие пока временно жили в землянке, а этим временем строили себе новые хаты...

Нина Зябликова немного гордилась, что их семья оказалась в числе первых, кто основал посёлок Новая жизнь. Вот и ребята, уходя в армию из только что отстроившегося посёлка, а домой возвращались в неузнаваемо выросшее одноулочное поселение. Свидетелем перемен первым стал Давыд Полосухин, отслуживший срочную. Когда-то в глазах маленьких девочек он казался весьма рослым и крепким парнем. Но спустя три года он выглядел не таким уж большим, каким представлялся тогда. Впрочем, сначала Нина с трудом узнала прежнего зубоскала, казавшегося заносчивым гордецом. Разумеется, девичий интерес к Давыду распространялся не как к тайно любимому парню, которого ждала из армии с самонадеянным упорством. Просто на Давыда Нина глядела не больше, чем на бывшего солдата, первое время не снимавшего военную форму, которая его очень украшала. Конечно, он это знал, и хотел нравиться девушкам, что откровенно читалось на лице и виделось в походке, с какой важностью он вышагивал мимо девушек с военной выправкой бравого молодца. Одно время на вечерках Давыд становился центром всеобщего внимания. Правда, такие девушки, как Нина, даже немного его побаивались, точно заезжего кавалера, способного искушить и уехать восвояси. Но Давыд оказался вовсе не таким, Нина видела, каким растерянным взглядом он смотрел то на Зину, то на Валю. У парня явно разбежались глаза; он затруднялся сделать выбор своей, единственной.

Нина сочувствовала старшим подругам в том, что двойственное поведение бывшего солдата вызывало у них досаду, удивление, так как лелеяли тайное желание достаться завидному кавалеру. Она с интересом наблюдала за негласным единоборством девушек. Но стоило Зине частушкой привлечь к себе интерес парня, как Давыд выбрал Валю. Но чем всё закончилось, мы уже знаем. Чуть позже Нина тоже не осталась без внимания Давыда. Однажды он с таким интересом уставился на неё, будто раньше никогда не видел. Впрочем, так оно и было: за годы его службы в армии, из маленькой и худенькой девочки, Нина превратилась в расцветающую девушку. Как-то раз с тока Давыд направлялся в МТС; при виде юной соседки он убавил шаг, кинув на неё такой удивлённый взгляд, когда вдруг открывается невиданная доселе красота. Хотя раньше её замечал, но, как слепец, не придавал ей никакого значения. Уловив её не столь приветливый взор, Давыд неожиданно смутился, поэтому пришлось всё свести к шутке:

– Ну как суседка дела? – нарочно, коверкая слово, спросил он.

– А как сажа бела! – отрезала не церемонясь Нина, испытывая вместе с тем некоторое стеснение и досаду оттого, что Давыд даже не соизволил подыскать для неё более приятные слова, и, как всегда, не обошлось без нотки насмешливости, чего девушка не выносила. Если бы парень имел какое-то серьёзное намерение, он бы вёл себя сдержанно, но никак не развязно. И Даныд это понял по её ответу, каким бы она ни за что не ответила своему жениху.

– Нинок, приходи на вечерку, может, погуляем? – предложил он весёлым тоном.

– Тебе есть с кем гулять! Или двух девушек мало? – поинтересовалась Нина, обернувшись к Давыду, стоявшему к ней лицом поодаль. Она увидела, как блеснули его молочно-белые зубы, с каким неприкрытым ехидством на её реплику раскрылись его губы, и сбоку рта пролегли тонкие морщинки. Вот в этом и был весь Давыд; она понимала Зину Половинкину, которая, по словам подруги Капы, откровенно вздыхала по нём, хотя точно не знала, тот ли ей нужен?

* * *

Прошла дождливая осень; миновала тёплая зима; стремительно наступила ранняя весна; раньше срока закончилась посевная и снова подходила уборочная страда. С телятника Нину вместе с другими девушками снимали на подготовку тока для ссыпки нового урожая в длинное каменное зернохранилище, где несколько девушек полынными вениками подметали цементные полы. В раскрытые широкие двухстворчатые двери серыми клубами, с привкусом горькой полыни, валила густая пыль.

Вот и началась уборочная страда, первые грузовики свозили с полей на ток молодое янтарное зерно. Нина попросилась работать на элеватор, под большим высоким навесом, где был установлен широкий бункер, куда с ленточного транспортёра водопадом сыпалось провеянное зерно нового урожая, уродившегося спустя два года после рекордного сбора зерновых, в общем-то, неплохим.

Две молодые бабы деревянными лопатами, с обеих сторон большой кучи нагребали янтарное, чистое зерно на ленточный транспортёр, который приводился в движение агрегатом, подпитанным током от местной дизельной подстанции. От неё, располагавшейся в ста метрах от тока, сухой ветерок доносил запахи масла и солярки. Двигатель создавал монотонный, непрерывный, рокошующий гул. На току пахло пылью, запахами масел, солярки, нагретым на солнце металлом и зерном. А из степи, изрезанной балками и лощинами, веяло высохшими травами: полынком, чабрецом, чередой, коноплёй, пыреем. И весь этот душистый настой ветерок смешивал с сухим запахом жнивья, скошенного и обмолоченного хлеба.

На востоке степь больше чем, где-либо изрезана пологими и крутыми балками, во влажных глубинах которых били студёные ключи, растекавшиеся по всему руслу, наполнив его этими болотистыми топиями. Если ветер дул с востока, то из балок к посёлку и колхозному двору веяло родниковой свежестью, настоящей на иле и кисловато-терпком репейнике. Солнце палило так нещадно, что становилось нестерпимо работать не только на полях, но и на току, где от жаркого пекла можно было спрятаться только в тени молодых акаций и тополей, или в прохладном каменном зернохранилище. Хорошо, что на току было достаточно воды от протянутой несколько лет назад городской линии водопровода, позволившей установить на каменных столбах металлический объёмный резервуар для подвоза воды на фермы и свиноводник, птичник и кошару. А молодёжь набирала в ведра из колонки охлаждающую влагу и прямо тут же обливалась, спасаясь от нестерпимого зноя, тогда как работающим на полях бабам и мужикам приходилось терпеть жару, пока подвезёт воду дед Пантелей в деревянной бочке, поставленной на бричку...

Глава 13

За последние годы заметно постарел Семён Полосухин. Некогда его тёмно-русая, густая борода засеребрилась клоками седины. Теперь он реже её подстригал, отчего она, естественно, становилась длинней и кудластей.

Года два назад умерла его престарелая мать Степанида, последние месяцы она уже не вставала, совершенно ослепла из-за болезни почек. После её смерти хата как бы совсем опустела. В ту пору в армии служили оба его сына Давыд и Панкрат. И жизнь Семёну показалась какой-то скособоченной, враз утратившей доселе казалось нерушимую цельность. И такое положение усугубило его настроение, отчего он на время потерял интерес к хозяйству. Но когда отслужил срочную службу Давыд, Семён как-то враз приосанился, оживился, гордо держа перед односельчанами голову. Недавнее горе, вызванное смертью матери, притупилось, а потом и вовсе стало забываться, и для Семёна открылась новая полоса жизни. А туда-сюда скоро возвратится и младший – Панкрат, вот тогда совсем станет веселей, радость заполнит душу до отказа. К нему вновь возвращались жизненные силы, он с новым порывом возьмётся за обустройство своего подворья...

По-своему радовала Семёна и дочь Стеша; она уже почти выросла, расцвела в милую и привлекательную девушку. В отличие от своих насмешливых братьев она была не очень общительная, всегда серьёзная, с постоянно удивлённо взиравшими на мир серыми настороженными глазами. Длинную русоволосую косу она любила укладывать на макушке такими кольцами, чтобы выглядеть совершенно взрослой.

Стеша и Нина были ровесницы, в школе сидели за одной партой. Они всегда находили о чём-либо поговорить. Стеша, склонная к искренности, поразительно точно толковала повадки людей. И первым под её критику попадал брат Давыд, манеры которого сестра резко осуждала даже при нём. Но колкие замечания сестры Давыда только смешили, и в свой черёд он называл её шутливо «грызуньей». А то и всерьёз нападал на Стешу из-за того, что с девчатами бегала к солдатам в греблю, а он не потерпит посрамления их семьи. Стеша на это только сокрушённо покачала головой, но брату ничего не ответила, ведь действительно она увлеклась солдатом. Но он закончил службу, уехал, обещал написать и какое-то время девушка ждала от него весточки. А потом на вечерках тайком вздыхала по гармонисту Грише, чувствуя себя одинокой, местные же ребята ей почему-то не нравились, если не считать городских, на которых она серьёзно не рассчитывала. На вечерках она почти не отходила от Нины. Но та, бывало, о чём-то секретничала с Капой, которая тоже считалась её душевной подругой, что вызывало у Стеши обиду, которую ей не выказала ни разу.

Серафима приучала свою дочь к набожности и смирению, Стеша с матерью не спорила, её вера в Бога касалась только края сознания девушки, так как современную жизнь она впитывала быстрее, чем молитвы. И хорошо сознавала, что прежнее почитание религии уходило в прошлое, но что не собиралась доказывать матери.

Также и Семён не видел в молитвах жены насущной необходимости. Серафима жила в благочестии и почитании всех религиозных праздников. Для жены вера в Бога была всей составной её жизни, хотя вслух она редко заговаривала о Создателе и не принуждала мужа к глубокой вере; её удовлетворяло лишь то, что, глядя на иконы, он украдкой крестился. А вот сыновья, одурманенные советской действительностью, хотя откровенно не обращались к религии, но по-своему признавали ту силу, которая властвовала над всеми людьми. Но бывало, Серафима бранила сыновей за непослушание, шедших на поводу властей, запрещавших веру в Христа-Спасителя, закрывая и разрушая по стране церкви и храмы. «Сатана пришёл в мир, – говорила она сыновьям, когда они были детьми, – чтобы люди ужаснулись его злодеяниям и сильней уверовали в Бога. И пока это не сбудется, дьявол не уйдёт восвояси!»

Но в то время новые порядки уже брали верх над сознанием сыновей, хотя они не высмеивали неистовую набожность матери. На иконы взирали вполне терпимо, как на неотъемлемую часть обстановки в хате. И уважительно относились как к отцу, так и к матери. И отношение Семёна к жизни и людям определяло их нравы...

Собственно, к председательству Жернова Семён давно притерпелся. И даже где-то в глубине души безотчётно его побаивался, так как районное начальство Павла привечало. В своё время арест бывшего председателя колхоза Сапунова поселъчанами единогласно связывался с восшествием Жернова на председательский пост. А при вступлении его в партию той же участи подвергся Семакин, о судьбе которого больше никто ничего не слышал. А после ходил слух, что поводом ареста Семакина послужил его отказ продвинуть Жернова в кандидаты партии большевиков... Хотя впоследствии вопрос о вступлении Жернова в партию был всё равно положительно решён не без помощи секретаря Пронырина, ради которого председатель колхоза делал всё, чтобы план поставки хлеба государству выполнялся.

Эти печальные обстоятельства вызывали у людей некий суеверный страх, в связи с чем Жернов воспринимался сущим душегубом или посланцем самого дьявола, вдохнувшего в него злой дух. Но об этом предпочитали помалкивать...

А потом по его инициативе колхоз назвали именем Кирова, погибшего якобы от руки врагов Сталина, мудрей которого нет нынче вождя и учителя всех народов. Но правду покушения ещё не скоро узнают. Однако со временем всё плохое забывается, как будто ничего и не было. Год от года дела в колхозе понемногу шли на подъём. Можно сказать, свои обещания улучшить жизнь Жернов неукоснительно выполнял, все колхозники от колхоза получили по земельному наделу и по тёлке, которые давно стали коровами, незаменимыми кормилицами.

Через нескольких лет, ещё не успели с плодовых деревьев облететь первые листочки, как по распоряжению нового председателя сельсовета Андрона Рубашкина прискакал уполномоченный, чтобы пересчитать молодые фруктовые деревца на тех подворьях, где они были высажены. И почему-то посланец сельсовета первым делом завернул к подворью Семёна Полосухина. В это время Серафима возле деревянной колоды размашисто, по-мужицки, рубила хворост на растопку печи летней кухни, чтобы потом на жару выпекать хлеба. Но при виде спешившегося у плетня всадника в картузе и в сером хлопчатобумажном костюме, привязывавшего к столбику калитки поджарого коня, она решительно воткнула в чурбан колун и, неумолимым хищным взором степной орлицы уставилась на приезжего. Мужчина средних лет, поправив аккуратно на голове картуз, держа под мышкой кожаный планшет, отворил оплётённую лозняком калитку.

Серафима тотчас уловила, что гость, наверное, из района и сердито нахмурилась, ведь от нынешних властей только и жди какого-то подвоха.

– Доброго здоровьица, хозяйшкa! – неожиданно громко заговорил непрошенный гость, нарочито весёлым тоном, словно этим самым подчеркивал, что у него самые мирные намерения и нечего супить брови. Он всё также держал в руке, снятую с луки седла, плоскую кожаную сумку, на которую почему-то неотрывно смотрела Серафима. – Где твой хозяин? – спросил следом тот.

– А что, хозяйки, чай, мало? – неприязненно глядя на вошедшего мужчину во двор, ответила Серафима. Её голова была плотно покутана белой косынкой. Она вытерла со лба ладонью капельки пота. На ней как всегда была тёмная полотняная юбка и светло-серая кофточка. Мужчина рассмотрел её внимательно.

– Да в принципе ничего. Для такого дела сгодится и хозяйка! Вот только разговор сугубо мужской, – несколько замаявшись, ответил приезжий, машинально проведя рукой по лбу, всё ещё разглядывая женщину, обликом походившую больше на монашку, чересчур строгую и осанистую, даже не похожую на колхозницу. Сразу видно, что недовольна жизнью, решил уполно-

моченный, вот в каком глухоманном крае прячется контра. А баба по-своему красивая, в ней заключена русская красота, сохранившаяся с древних времён. И говорят, муж у неё такой же, впрочем, по усадьбе видно, хозяин ладный, всё отделано по науке ремесла...

– Нет хозяина... уехал по делам в соседний хутор, – ответила Серафима, глядя долго на уполномоченного, желая выяснить, по какому вопросу тот к ним вдруг пожаловал? – Так что вам нужно?

– У меня бумага из сельсовета, предписание, мне ждать некогда, надо срочно осмотреть усадьбу. Обсчитать все постройки, если высажен молодой сад – пересчитать деревья и поставить всё на учёт.



– Господи, спаси, а что их учитывать, они, поди, не убегут в степь, недавно посажены во сыру землю, ещё не плодоносят, ожидать долго, – укоризненно-смягчённым тоном произнесла хозяйка, глядя на мужчину холодным недовольным прищуром и настороженно.

– Без вас известно, что не убегут, зато учёт молодых садов для социалистического хозяйствования вести необходимо сегодня. Плохо, что вы это сами не понимаете, в следующий

раз будьте добры докладывать и регистрировать, что прибавляется на подворье, – пространно заявил тот, довольно чеканным тоном.

– Ну, коли воля ваша, считайте! Но какая от этого выгода? – обречённо пожала она плечами, глядя на мужчину сомнительно.

– Прямая, мать, чтобы знали социалистический путь без уклона в частницу. И никаких там чрезвычайных отклонений от коллективного хозяйства к частнособственническому курсу! – сказав это, уполномоченный пошагал через двор, мимо сарая туда, где как раз начинался молоденький сад, а за ним был виден огород.

Записав в раскрытый блокнот пересчитанные саженцы, он бегло осмотрел белёные постройки подворья: сарай, хату, летнюю кухню, курник и в самом задку двора стога сена и соломы, сложенные умелой хозяйской рукой. И всё подворье удивляло ухоженностью и чистотой...

Вскоре уполномоченный, отвязав коня и взяв его под уздцы, пошёл с ним к следующему двору. А Серафима, конечно, ему соврала, когда сказала, что Семён якобы уехал в хутор Большой Мишкин, поэтому перекрестилась несколько раз за согрешение перед Богом. Тогда как на самом деле Семён с сыном Давыдом ушли с кирками и лопатами в каменку рубить ракушечник для затеваемой новостройки на краю посёлка, где накануне за несколько вечеров сделали разметку и выкопали под закладку фундамента траншею...

В посёлке Новая жизнь ещё только-только намечались создаваться молодые семьи, а их родители, вот как Семён, уже подумывали о стройке своим сыновьям жилья. Ещё Давыд не успел как следует освоиться на гражданке, как у Семёна забродила мысль заготовить стройматериалов на постройку хаты. Ведь всё равно рано или поздно сын надумает жениться. Тем не менее от задумки до воплощения прошло два месяца, когда Семён заговорил с Давыдом о волновавшем его, отца, замысле, поскольку он не надеялся, что сын этак самочинно, издалека, наводящими мыслями, заведёт с ним животрепещущий для него, Давыда, разговор. Но молодому, беспечному парню, видимо, практическая смекалка вовремя не доходит до ума, чтобы обдумать то, как удобней всего устроиться в жизни. И тогда Семён подошел к сыну со своим наставлением:

– Хочу с тобой, Давыд, обмозговать, как нам судьбу твою выгодней обыграть, – начал степенно Семён, поглаживая бороду натруженной ладонью. – Ты, поди, уже настоящий мужик, надясь туда-сюда и жениться захочешь! Так говорю? А нам, – сам скумекай, – в хате всем скопом жить будет дюже тесно. Я эвон, хорошо помню себя молодым, не успел подать голоса своему тятке, что хочу жениться, как он мне: ставь избу, а потом решай что и как! Ведь у нас братьев и сестёр была – дюжина! Всем в избе трудно было разместиться своими семьями. И строили избы одна к другой...

– Батя, чего там зря балакать: надо так надо, я не гордый. Может, правда к осени женюсь, вот и хату зачнём ставить?

– Вот и хорошо, а скажи-ка лучше наперва, чью девку на примете держишь? – прищурилукаво глаза, спросил Семён.

– А вот этова пока, батя, не скажу, не донимай расспросами, – буркнул Давыд и потупил стеснительно взор.

– Никак девки Прошки Половинкина приглянулись? – заговорщически хитро подмигнул Семён. – А что скрывать, скажу без обиняков – девки у него все гарные, даже младшая Майка уже невестится. Но их отец, Проха, как хозяин, мне не шибко нравится, потому как погулять да поволянить любит. А вот Зина вылитая в отца, чересчур бедовая, но работает старательно, это, пожалуй, у неё основное: можешь взять на заметку. Зато Капа помирней, но жалко, что ещё молодая...

– Будет тебе, батя, девкам кости перемывать, небось им там икается, – бросил Давыд со смешком и, подумав незаметно для себя прибавил, словно говорил товарищу: – Просто Зинка много о себе воображает...

– Тоже верно подметил, ветерок так и свистит в голове. Кавалеров у нас пока кот наплак, но зато девок дюже много, а стоит приехать на стрельбище солдатне, так у девок ушки на макушке. Бывало ночью до ветру встанешь, а из каменки слышны смех, визги... Эх мать твою, себя молодым вспоминаю! – и он с раззявленным ртом почесал задумчиво затылок.

– Ничего, батя, хватит и нам! Но я хочу узнать, можно ли сейчас, без сговору с невестой, к ней сватов засылать?

– А, эвон, оно что... конечно, старина дело хорошее. Только, поди, она не всей молодёжи нравится. Я намерен тебе говорил уже, что мы с матерью сходились по сговору старших. Ничего, Давыд, коли хату построим, Зинка с ходу пойдёт, – подбодрил отец. – А можно и самим сторговаться. Я этот обряд, признаться, очень уважаю, так даже намного интересней!

– Мы же не в России живём, а на Донщине, тут свои казацкие традиции, говорят, ещё и выкупы требуют?

– Какие у нас здесь казаки, одни залётные кацапы, как и тут издавна обитают одни беглые, а мы как раз тоже почитай из таковских...

– Вот ежели казачку из станицы заметишь, тогда помозгуем, как сосватать. Ладно, довольно нам балясы точить, это уже политиканством пахнет, – заметил тихо Семён. – Ты служил, в армии небось слышал разное, а я всё остерегаюсь у тебя спросить, сынок. И сам, поди, оттого и молчишь, что трезвонить нельзя? Небось, разного слыхивал, что касемо врагов народа, а?

– Нет, батя, такие разговоры в армии не поощряются. К тому же объезжать танки – это сродни укрощению породистых лошадок. Полигон, батя, огромный, там тебе и горы, и реки, и обрывы, и на учениях надо бить на поражение как настоящего врага. Манёвры – это та же война! – с гордостью отвечал Давыд. – А вот дезертирство в нашей части было. Военных тоже сажают, а явных предателей даже расстреливают...

– Ладно, ладно, довольно, Давыд, а то ненароком мне выболтаешь тайну, что опосля жалеть придётся, – остановил решительно, с чувством неистребимой опасности за сына Семён. Ты на людях, на ваших игрищах молодёжных, такие разговоры остерегайся вести. Слыхал я, что везде из НКВД есть свои люди...

– Чего ты так испугался, про манёвры и в газетах пишут! Наша армия самая большая и мощная в мире... Шпики уже пройденный этап, батя, я не боюсь.

– Это хорошо, так и надо, чтобы буржуй боялся! Лишь бы войны с Германией не было. А то люди болтают всякое...

– Ничего, коли попрут танками, мы накроём германцев своей мощной бронёй. Но пока очень важно укрепить границу и баста, батя...

В воскресенье Семён с Давыдом с раннего утра снарядились в каменку с необходимым инструментом ломать ракушечник. За тяжёлой работой вели житейские разговоры, стараясь говорить негромко, как будто их кто-то мог тут ненароком подслушать. Но, как говорится, чем чёрт не шутит, а бережёного бог бережёт. Однако на исходе августа день выдался чересчур жарким. Правда, знойное солнце без конца ныряло в белоснежные облака, словно пряталось от своего же нестерпимого пекла. Тёплый ветерок оведал голые, замокревшие от пота загорелые спины мужиков. Вокруг пахло пожухлыми, вылинявшими травами, но сильнее всего полынью и чабрецом, реже репейником и чередой, запахи которых без конца то чередовались, убывая, то смешивались в один сильный пахучий настой, пьянивший сознание, как выдержанное, старое вино...

К обеду сумели наворочать приличную кучу ракушечного камня. Семён выдохся от непрерывного махания киркой, присел на горячую желтоватую пластушку перекурить. Пока

не спеша сворачивал сигарку, он успевал посматривать вдаль широкой балки, дно которой до противоположного отвесного бугра стелилось зелёной равниной. Где-то там, почти повторяя изгибы крутобокого обрыва, тёк ручей, подходивший прямо к отвесному глинистому гребню, вымывая его основание, поросшее то молочаем, то репейником, то верблюжьими колючками, то татарником, то лопухом, то чередой, то осокой. И там было стойло для колхозных коров, где стоял деревянный вагончик, обитый железом и выкрашенный зелёной краской..

Одна половина этого гребня кем-то некогда была предусмотрительно надрезана, как хлебная горбушка до самой душистой мякоти. Из этого свежего надреза желтела обветренной коркой глина, кое-где поросшая травкой и верблюжьими колючками.

– Вот где можно делать замес, глина там отменная, прессованная, жирная и сочная, а внизу ручей широкий, место подходящее, ровное, как раз сгодится для просушки самана, – заключил вслух свои соображения Семён, указывая рукой в сторону гребня.

– Зато до хутора далековато, батя, могут саман лихоманы стибрить, – заметил важно Давид, вглядываясь в перспективу равнины, положи на плечо для очередного замаха кирку.

– Пожалуй, так, маленько далековато от посёлка. А в нашей балке уже глина пошла одна обезжиренная, весь бугор разворошили, покуда все эти годы строили хаты...

– Слышь, батя, а правду люди бают, что будто здесь, в каменке, в одной из пещер некогда жил беглый заключённый? Эту легенду, про всего обросшего одичалого человека, я ещё до армии слышал, история занятная. Говорят, привёл туда какую-то женщину, там с ней жил, а ночью выходил на промысел. Но когда в зиму стало нечего есть, он женщину умертвил, расчленил и съел. И только от неё косточки и тряпки остались!

– Может, кто и прятался, люди часто видели полыхавший в пещере костёр. Кто же доподлинно знает, кто там жил: то ли беглый каторжник, то ли бандит – не ведаю. Но про съеденную женщину – нет, такого бреда я не слышал, однако...

В это время внимание Семёна привлекло приближающееся тарахтение ехавшей из посёлка, тяжело гружёной брички. Дорога пролежала как раз внизу холмистого местечка, называемого в народе каменкой, где под плотным мшистым и травяным дёрном, под слоем суглинистой почвы, укрывались несметные залежи напластованного ракушечника. Здесь было несколько сообщающихся между собой пещер, одна из которых своим раскрытым устрашающим зевом была обращена на каменистую дорогу, изгибающуюся вблизи ракушечных отлогов и утёсов, повторяя приблизительно их выступы и извивы, уходя наизволок к посёлку. И вот эта пещера, мимо которой приходилось ездить в хутор Большой Мишкин и город Новочеркасск, настораживала и пугала едущих по ней путников. А сейчас по ней ехал на бричке, запряжённой парой лошадей, возница Демид Ермилов, везший по заданию Жернова окружным путём в город откованные бороны, запашные плуги, продольные диски для первой комплексной бригады, находившейся под посёлком Октябрьским. Увидев Семёна и Давыда, Ермилов снял с головы кепку и помахал ею, приветствуя работников:

– Бог в помощь, Сёмка! – и в озорной усмешке растянул толстогубый рот. – Что, Сёма, нешто удумал сыночка отделить? Мою дочь Алину возмёшь в невестки? Отдам за так, но девка гарная, парнёв всех пришлох водит табуном!

– Катись, катись себе, Демид! Я же у тебя не спрашиваю, чего это ты на вечер оглобли в город направил? – яростно ответил Семён и прибавил: – А твоей крали нам не надобно и за так.

– Да у нашего преда и в воскресенье голове и ногам покоя нет. Такое вот, братцы, дело, – не унывая, выкрикнул кузнец, но про себя с досадой подумал: «И чё энто меня не туда занесло?»

– Ну, тогда с Богом, Демид!

Бричка, тарахтя и дребезжа железками, наваленными на её высокие борта, прокатила мимо, съехала по дамбочке за вытекающий из посёлковой балки ручей. Затем она покатила

по балочной равнине, огибая сначала пологий, уходящий ввысь к посёлку бугор, затем, отъехав от него далеко, повернула как бы навстречу другому, отлогому бугру, но где-то там обогнув его, вскоре с возницей бричка скрылась из виду.

Глава 14

Дорога в партию далась Жернову нелегко. Сначала у него на пути встал несговорчивый Семакин, который после ареста Сапунова люто возненавидел нового председателя колхоза. Затем на совещаниях в райкоме нужно было преодолеть некоторое настороженное к нему любопытство со стороны других председателей колхозов, состоявших все до единого в партии. Они смотрели на него как на самозванца, отчего Жернов испытывал себя донельзя неловко. Причём иногда ему казалось, будто его все осуждают за то, что он захватил не принадлежавшее ему место председателя. Правда, на этот счёт он внутренне ярился и злобился, говоря про себя в сердцах: «А что б вас по дороге леший перешиб, ежели так жалеют Сапунова, значит, сами ничем не лучше – свой своего чуют издалека! Нешто пост преда кому-то даётся от самого рождения? Кто заслужил – тот своё сполна получил. Когда мне сподобилось явиться в сей грешный мир, колхозов ещё не было в помине. Так что, я для него и создан, чтобы людьми управлять. Но ничего, к моему норову надо привыкнуть и чем быстрее, тем для них будет лучше. Да, скоро мои недруги узнают каков я рачительный хозяин! И тогда все позавидуют моим успехам. И видит Бог, я всем покажу, где раки зимуют. Погодьте, граждане, малость – ждать недолго осталось, когда Жернов на весь район славой прогремит!»

На одном из районных совещаний, проводимого, как всегда, Яковом Проныриным в его большом, просторном кабинете, к Жернову вдруг явилось неистребимое желание ускорить свой приём в партию. Пока шло совещание, он обдумывал, с какими словами подойти к секретарю-благотелю, как начать нужный ему разговор, отчего он даже не слышал речей выступавших и даже не помнил, как сам зачитал отчёт, а потом сел на место весь в холодном поту, еле дыша от безудержного волнения. Однако кое-как собрался с духом, решительно отогнал всем усилием воли проклятую нервную дрожь, сосредоточился на том, что должен был сказать Пронырину. Когда кабинет секретаря наконец опустел, Жернов, комкая в руках фуражку, осторожно подошёл к столу секретаря, где всё было чётко разложено по своим местам, и от одного этого порядка на столе он видел в себе нечто жалкое и ничтожное. Но это чувство, как искра, вспыхнуло и потухло. А в следующий момент Жернов ничего не понимая, никого не замечая, лишь видел дорогой силуэт и его лицо, и на нём ловил взгляд, ожидая миг, чтобы хозяин поднял глаза на него. При этом у Жернова всё внутри, как никогда, сжалось, точно промокательная бумага. Его лицо сейчас являло собой вид заискивающего, покорного раба, представшего перед своим всемогущим господином.

– Яков Романович, у меня к вам большая просьба, она касается всей моей дальнейшей успешной работы, – начал он немало волнуясь и от этого стушевался, мямля в руках фуражку, как попало. – Понимаете, я давно мечтал вступить в партию. У меня больше нет сил находиться беспартийным среди партийных людей нашего района. И стыдно, лично перед вами, Яков Романович, от этого чувствую себя шибко нехорошо, оставаться впредь беспартийным – мне непристало и, как от горя, мрачнеет душа. И мне, сподвижнику колхозного строя, быть на особинку больше не с руки... Помнится, вы обещали мне как-то помочь, посодействовать...

– Да, пожалуй, это так, – задумчиво заговорил Пронырин – Хорошо, что напомнил; признаться об этом я подумывал сам. Ты среди членов райкома как бы вне закона. Но мы эту ошибку исправим враз, – с надменной улыбкой прибавил хозяин. И Пронырин, испытывающим, холодным, непроницаемым взглядом посмотрел на Жернова, к которому, было время, долго присматривался, находя у того беспрекословное стремление выполнять, исходившие

от него, секретаря райкома, все партийные указания. А более сговорчивого, исполнительного председателя колхоза, Пронырин, пожалуй, иметь под рукой не желал.

– Ты, Павел Ефимович, вот что сделай: поезжай к Семакину, чтобы он тебя выдвинул на собрании партячейки кандидатом. А пройдёт необходимый срок, мы тебя утвердим на бюро райкома.

Жернов опустил голову и нерешительно переминался с ноги на ногу, как стреноженный конь, теребя в руках фуражку. А потом, как шагнув в ледяную воду, решительно взглянул на Пронырина, но, правда, получилось как-то растерянно, чего с ним такого не происходило в отношениях с другими людьми.

– Ну, так чего ещё сказал неясного? – недоумённо и, уже раздражаясь, спросил Пронырин, убирая бумаги в ящик стола.

– Дак Яков Романович не знаю, как главное сказать, то есть, с Семакиным я уже балакал, так он меня того... не уважил... рекомендации не дал...

– Почему? – возмутился Пронырин, глядя сурово на Жернова.

– Да потому, что мы с ним, как на ножах. Вам боялся говорить, – обречённо вздохнув, проговорил Жернов.

– Что так? Выкладывай и ничего не утаивай! – прищурил глаза секретарь, пытаясь разгадать причину их скрытого конфликта, что утаивать от партии для обоих было опасно. Он невольно задумался, и глубокомысленным взглядом куда-то смотрел мимо Жернова, и про себя прикидывал: как же поступить в отношении враждующих подчинённых?.. И услышал ответ подчинённого как бы издалека:

– Дак всё из-за Сапунова... Семакин стоит за него горой, оправдывает действия врага народа. Вот от этого и разгорелся весь сыр-бор!.

– Я так и подумал! Да, да, Семакин тёртый калач. И как это я о нём совсем забыл «позаботиться». А ведь знал, что он хитрый лис, но когда-нибудь себя проявит так, что вся его сущность вскрыется, как гнойник на теле партии, – размышлял Пронырин. – Значит, пособничал врагу народа, будучи его соратником... Ладно... эту помеху с нашего пути смахнём...

На это ушло, однако, немного времени, поскольку Семакина, после предъявленного ему обвинения в лево-троцкистском уклоне, на второй день арестовали. А на его место преда сельсовета поставили Андрона Рубашкина, который незамедлительно, без проволочек дал Жернову рекомендацию о вступлении в партию. Это столь важное для Жернова событие его тотчас возвысило, отчего он себя почувствовал чрезвычайно уверенным в решении любых хозяйственных и политических вопросов. Тем не менее внутренняя сущность его от того, что он стал большевиком, вовсе не изменилась. Единственно, отныне со всеми другими предами колхозов он был в равном с ними положении. Но поздравляли его несколько скупой, не от всего сердца, словно все ему завидовали, а на самом деле презирали, сумевшему обставить партию...

О смещении Семакина с поста председателя сельсоветов в посёлке Новая Жизнь узнали спустя время, причём полагая, что его перевели на другую работу. Но вскоре выяснилось, что он нигде не работает, даже более того, – он вообще бесследно исчез. И от этого у людей рождались однозначные подозрения, отчего они враз менялись на глазах: разговорчивые умолкали, а молчаливые были хмуры и невеселы; в их глазах вспыхивали тревожные огоньки, а в сознании мелькали красноречивые догадки о том, что в действительности произошло с Семакиным. Однако вслух никто не посмел обмолвиться об аресте Семакина, поскольку всеми владел некий суеверный страх. В душе многие люди стали понимать, что кто-то из них запросто может стать следующим?! Если снимают и сажают таких верных партии коммунистов, каким был Семакин, тогда что говорить о простых колхозниках. И всё это думалось народом молча, люди безропотно сносили страхи, утаивая свои сокровенные мысли и чаяния. Правда, иногда на нарядах красноречиво переглядывались, да и то, впрочем, с некоторой опаской и оглядкой.

Хотя этого было вполне достаточно, чтобы между собой негласно обмениваться тайными мыслями по случаю ареста Семакина, что для всех было самым трудным испытанием. Как ни старались они забыть, как несколько лет назад людей взбудоражил арест Сапунова и деда Пипки, тот пережитый всеми ими утробный страх, оказывается, ещё не успел совсем вытесниться даже безудержным напором жизни. И не прошло года, как он вновь с новой силой, в связи с постигшей бедой Семакина, неотвратно вернулся. Жернов это видел по их выражениям глаз, в которых пряталась затравленность, и не произнёсённые вопросы: «За что, почему ты это делаешь, в нелюдя превратился?»

И гадали так все колхозники про себя или шептались: кому мог помешать принципиально-честный председатель сельсовета? Однако на свои недоумённые вопросы не находили исчерпывающего ответа. Да, собственно, не очень старались, разве что, может быть, каждый про себя сделал надлежащий вывод из этой грустной истории, о чём даже у себя дома, среди своих родных, крайне опасались высказываться вслух. Конечно, находились и такие, которые обсудили это событие и вскоре о нём забыли. И таких, которые не знали, как и за что забрали первого председателя колхоза, было треть посёлка, но о том, что в стране шла охота на врагов народа, слышали только от людей да вычитывали из газет. Хотя Фёдор Зябликов был вовсе не из таких, кто на людях шептался или молчал, в хате же, в отсутствие детей, в отчаянии и скорби на уставшем от работы лице, выплёскивал свои эмоции:

– Почему у нас снимают хороших людей, а проходимцы навроде Жернова невредимы?

– Что ж ты так попусту убиваешься, Федя? – вежливо умирала Екатерина мужа, стараясь заглушить собственный страх, который испытывала ещё с ареста брата Егора. – Семакина уже никто не вернёт, а своим криком ты можешь нам навредить. Мало ли сейчас гибнет достойных людей, не угодивших властям...

Фёдор соглашался и уходил курить, понимая, что жена полностью права, надо думать о семье... Он вспомнил, как Семён курил на лавочке перед двором и держал свои мысли при себе. С женой Серафимой ему делиться не было нужды, так как наперёд знал её ответ о сатане, помогающем безбожникам и нехристям. Или, как бывало, начнёт защищать власть, которую тоже даёт Бог, какую заслужили люди. И то верно, утратили веру в Бога, поддались бесовским посулам большевиков, то и получили. Правда, давно она убедилась, что не только власти отказались от Бога, но и простые люди, закружившиеся в дьявольском хороводе, и творящие над своими же близкими бесчестье...

Макар Костылёв также предпочитал держать свои мысли при себе. Впрочем, Рубашкина он находил более покладистым, не таким буквоедом, каким ему представлялся Семакин, для которого законность была честью и совестью, как неотъемлемая часть его самого...

Разумеется, о снятии и аресте Семакина одним из первых узнал Жернов. Но об этом перед собравшимися на наряде колхозниками он нарочно промолчал, не желая, чтобы люди истолковали его сообщение исключительно по-своему, а именно, заподозрив его, Жернова, в причастности к аресту Семакина. Впрочем, это известие он и сам воспринял с тайным опасением, что вот так же и его тоже могут увести. Но пока стоит у кормила власти Проньрин, ему не угрожало это. Тем не менее он приходил на наряды довольно хмурый, хотя в душе был чрезвычайно доволен, что наконец противник повержен не без его участия. А на Рубашкина он найдёт в случае чего сам управу, но пока Андрон его почитает...

Жернов отдавал весьма скупые распоряжения Костылёву и скоро укатывал на линейке в город, а тот гадал: наверное, проверять другие усадьбы их колхоза, ведь раньше он ездил туда довольно редко. Но разве поймёшь, что у другого на душе? Жернов же дорогой погонял меланхолично кнутом лошадей и перебирал в памяти запечатлевшиеся на наряде выражения лиц колхозников. И многие ему не нравились, хотя в них ничего не находил для себя опасного, кроме испуга и растерянности. Но как раз это обстоятельство его огорчало и злило, что люди его молчаливо по-прежнему осуждают, и вместо того, чтобы испытывать перед ним животный

страх, или быть ему благодарным за улучшение их жизни, они считают его виновником ареста Семакина...

Ну и пусть, что ему до настроения колхозников?! Ведь они должны знать, что на одного врага стало меньше: заговор последышей Троцкого раскрыт. Надо бы приехать к ним в колхоз Проньрину и всем объяснить, каким злостным врагом партии и народа оказался их Семакин. «Ежели в своих башках они жалеют его, а меня осуждают, тогда и они есть последыши Троцкого. А ежели я им объясню? Нет, не буду унижаться, всё равно это быдло мне не поверит, и без того косятся, будто во мне видят палача!»

И он злился на этот немой, безропотный самосуд людей, вынесших ему, по молчаливому согласию, небось, суровый приговор. Можно было бы выбросить это из головы, как он делал раньше, однако Жернов сознавал за собой истинную вину. И как бы он не пытался напрочь забыть некогда содеянный грех, его всё равно мучила совесть, что он, Жернов, напрямую причастен к аресту Семакина. И тут же пытался представить дело так, что к нему он не имеет никакого отношения, так как участь Семакина была predetermined борьбой со скрытыми врагами суровым временем, требующим жертв ради счастья будущих поколений. А если разобратся, Семакин не желал написать ему, Жернову, рекомендацию в партию, и тем самым наносил вред колхозу, ведь он, председатель, улучшал жизнь колхозникам, будучи беспартийным. Это благодаря ему в 1934 году от людей отхлынула реальная угроза голода. Но этого факта они упрямо не желали признавать. Разве это сопоставимо с тем, что Семакин для них только и делал, что справки выписывал, вот и вся его реальная заслуга! Он мешал людям жить, на колхозном собрании надо так прямо и заявить. Но он, Жернов, скромничает, не хочет давать позитивную оценку своей работе. И лучше не заострять на себе их внимание, а то подумают, что желает оправдаться, очистить совесть, а Семакина совсем смешать с грязью. Лучше делать вид, что ты не сведущ о решениях райкома. Но он и впрямь почти не держит в руках газет, потому что был занят работой с утра до вечера и ему даже некогда следить за политическими событиями, происходящими в стране. Хотя на самом деле на совещаниях в райкоме всегда освещаются принимаемые партией политические решения и до всех доводится, что сказал на очередном пленуме товарищ Сталин, всеумудро и всевидяще руководящий рабоче-крестьянским государством, строящим социализм...

Вскоре после снятия Семакина Жернов вступил в партию. И говорили, будто новый председатель сельсовета Рубашкин не без угодливости предложил Жернову пополнить ряды большевистской партии, чтобы потом, в случае чего, не полететь следом за Семакиным. Но как раз этого тому нечего опасаться, так как его деятельностью председателя сельсовета в райкоме были вполне довольны. Ещё бы, если при Семакине к поселчанам не наведывались с описями всего их имущества, построек, деревьев, животных, птицы, не обмеривали при дворах землю, то теперь это делали весной и осенью. И поневоле народ с благодарностью вспоминал Семакина, который давал людям свободно дышать, не оглядываясь, уверенно работать в свободное от колхоза время на своих подворьях. А теперь эта лавочка закончилась, и первым, кто радовался, что она осталась в прошлом, был Жернов, который всем представлялся страшной помещика, служивший верноподданнически райкому. Ведь кто, как не Проньрин, также одобрил Жернова по взятым обязательствам на сверхплановые поставки всех видов культур, которые он выполнял по первому требованию Проньрина. А на совещаниях секретарь райкома неоднократно ставил его в пример, особенно тем председателям колхозов, которые часто срывали сверхурочные поставки хлеба. И выходило, что Жернов был самый исполнительный хозяин, пёкшийся об интересах государства больше кого-либо, за что среди председателей получил прозвище выскочки...

Но упрекнуть Жернова открыто в каких-то особых личных отношениях с Проньриным никто бы, пожалуй, не решился, и остерегались давать оценку странной дружбе как секретаря, так и председателя колхоза имени Кирова. А с другой стороны, Проньрин не считался сторон-

ником создания вокруг себя близкого окружения из любимчиков. Тем не менее у секретаря такие были, с ними он поддерживал такие отношения, которые способствовали укреплению его партийной карьеры. Хотя он делал упор на то, что стремится укреплять не только свои партийные позиции, но и повышает авторитет партии, и чтобы все работали как он, Проньрин. И если кто-то будет уклоняться, он так же покарает, как в своё время за вольнодумство и отступление от проведения политики партии поплатился Сапунов, а после него отправил далеко трёх председателей колхозов: двух расхитителей и одного не выполнявшего хлебозаготовки. Но из всех снятых, как доносили ему холуи, Сапунов всё ещё жил в памяти людей.

А между тем в народе твёрдо жило убеждение, что за хорошего человека всё равно рано или поздно последует кара Господня. И кто так считал из людей – была Серафима Полосухина, а ей вторил муж Семён. Ульяна Половинкина как-то было изрекла почти то же самое на наряде, но Роман Климов по-отечески остановил женщину. Ведь миром тогда правила власть антихриста, и он верил, что на земле она временная, так думал этот мудрый старик, встреча с которым у нас ещё впереди.

О секретаре райкома предпочитали не говорить, но не знали, как можно было ладить с самоуправным председателем Жерновым. А между тем для Проньрина прошедшие годы борьбы за единоличную власть, за укрепление в районе своего могущества, в том стиле, в каком она проходила, его уже почти не волновала, так как он всерьёз полагал, что свою должность – секретаря сельского Октябрьского райкома партии – давно перерос. И оттого нынешняя работа его больше не удовлетворяла; для того он и работал почти денно и нощно, не жалея себя, чтобы по соцсоревнованию районов Азово-Черноморского края идти всегда впереди. В крайкоме его величали передовиком, чего он достигал любой ценой ради того, чтобы занять своё место в крайкоме партии. И теперь его звёздный час пробил, скоро он отправится с докладной запиской о проделанной работе по всем направлениям народного хозяйства.

Но тогда Проньрин ещё не догадывался, что в особом отделе НКВД на него уже заведено дело совсем иного содержания, и вместо ожидаемого повышения по службе из крайкомовского НКВД пришло секретное распоряжение об аресте Проньрина за антипартийную деятельность. Причём такой же участи подверглось несколько секретарей райкомов и горкомов, попавших в чёрный список чистки партийных рядов среднего и высшего партийного звена...

Но об этом он узнал, когда был снят с должности секретарь крайкома ВКП (б) Щеболаев, тот самый, к которому он должен был идти на приём. И никому из пришедших его брать он не успел объяснить, что стал жертвой чей-то ошибки, он самый верный последователь великого дела Сталина. Хотя в голове вертелся вопрос: «За что?» И первое, что вспомнилось, это эпизод из Гражданской войны, когда, по сути, по его вине был разгромлен конный кавалерийский корпус. Но тогда он сумел вывернуться, так как свидетелей его военной ошибки почти не осталось. А из тех, кто уцелели, он позже уничтожил. Последнего – деда Пипку. И тот самый Соловьёв, руководивший особым отделом, потом рассказал, что дед подтвердил своё кошеварство в одном полку...

– И что он тебе рассказал? – спросил тогда осторожно Проньрин.

– Его передали другому следователю и дальнейшая судьба деда мне неизвестна.

– Что, могли оправдать?

Проньрину тогда запомнилось, как после его вопроса особист так странно посмотрел на него, что пропало всякое желание продолжать разговор. И видя, что секретарь заметно насторожился, Вадим Александрович сказал, что ему запретили говорить. Но потом как-то быстро ушёл. Проньрин в обход своего бывшего боевого товарища пытался узнать, что случилось со стариком. Почему-то о Тронове никто не слышал. А дело было в том, что Вадим Соловьёв хотел узнать: по какой причине секретарь райкома решил избавиться от деда? И пообещав Тронову, что он не пострадает, если всё ему начистоту расскажет. Легковерный старик, конечно, поведал нехитрую историю того, как корпус угодил в засаду и был разбит наголову

из-за ошибочных действий комиссара Пронырина; после того жаркого боя уцелела лишь кучка бойцов вместе с командиром. Тем не менее Никанора Тронова Соловьёв не отпустил на волю, отправив куда-то по лагерному этапу и где-то там тот сгинул бесследно...

Арест секретаря райкома Пронырина (который в тот момент также вспомнил, как устранял неугодных ему председателей колхозов, завотделами райкома и райисполкома), с некоторым опозданием ошеломительной новостью докатился в посёлок Новая жизнь. Правда, сначала прошёл слух, что Пронырина сместили со своего поста якобы за превышение своих партийных полномочий, и ещё вменялись ему обвинения в необоснованных растратах денежных средств из госказны и части партийных средств. И только потом поступило уточнение, что Пронырина арестовали как тайного агента мировой буржуазии, принадлежавшего к троцкистско-бухаринскому блоку. Это сообщение на простых людей произвело эффект разорвавшейся бомбы, и люди поверили в справедливость предъявленного Пронырину обвинения, ведь недавно он, как барин, разъезжал на роскошной линейке, а потом и в автомобиле...

Однако, по-настоящему никто не знал, что достоверно скрывалось под этим арестом. Хотя сам факт ареста секретаря, в сущности, наверное, ни на кого такого сильного впечатления не произвёл, как на Жернова, который тут же почувствовал нависшую над ним смертельную опасность, и его охватил такой панический страх, что Марфе пришлось долго успокаивать мужа. А потом, не объяснив ничего, передав свои полномочия Макару Костылёву, он ушёл, и два дня нигде не показывался, не произнося и дома ни одного слова.

А люди на нарядках о том, что произошло с секретарём райкома, между собой старались не суесловить. Конечно все колхозники, услышанной новостью, были настолько удивлены, что одно время их одолевало сомнение: а не пошутил ли кто над ними? Они даже не знали, от кого поступило это известие. И продолжали сомневаться, как мог полететь со своего высокого поста Пронырин – этот всемогущий человек?! А потом пришли к единому мнению, что все ходят под Богом, ему видней, кого миловать, а кого карать. И вместе с тем о секретаре никто так не сожалел, как в своё время жалели Сапунова. И немногие ещё продолжали обсуждать это событие, разве что кто-нибудь тайком между собой пошепчется и замолкнут. Вот как, например, Староумов с Жерновым, сидевшие в амбаре:

– Не нам об этом судить, Ваня, что я могу сказать? А ничего! – хмуро, недовольным тоном буркнул Жернов, наклоня голову.

– Паша, чую, что-то ты знаешь, да скрываешь? Может, тебе видней, так и надо, не ведаю, – тихо, сокровенно, вглядываясь в Жернова, напряжённой ноткой проговорил Староумов, через стол даже тянулся к визави и шептал: – Мне можно, Паша, я в доску свой, сколько лет вместе работаем, пора не чуждаться, – вкрадчиво, этак осторожно прибавил Иван Наумович.

– Да ты, Ваня, пойми, мне самому очень чудно – никак не могу разобраться: наш секретарь был – такая дальновидная голова! А не удержался – под корень смахнули. Ведь его все почитали и боялись! И в крайкоме, небось, тоже его уважали, ещё слушок ходил – должны были наверх Якова Романовича перевести. И вдруг – на тебе, полетел в другую сторону такой умный человек! И што теперь будет в райкоме?! Вот о чём тужу!

– А чего «тужить»? Поставили нового секретаря, узнай его получше, а потом...

– И что ты понимаешь в этом, Ваня, – раздражённо перебил Жернов. – Поставили, но какого! Разбоек совсем другого покроя, к нему не тот подход нужен. А вот какой, я и сам не знаю, надо бы приглядеться. Ты это верно подсказываешь...

Недоумение Жернова вполне было объяснимо. Пронырина он не мог не боготворить, ведь кто, как не секретарь райкома, вознёс его на председательский пост. Вот поэтому каждое слово Пронырина для Жернова считалось больше, чем закон. И надо же, теперь его не стало, если бы он пошёл на повышение, тогда был бы другой разговор. Между прочим, со дня на день многие в районе как раз этого и ждали, но одни с радостью, другие с сожалением. И если бы это случилось, он, Жернов, им бы бесконечно гордился. А там, гляди, пригласил бы его на малень-

кую должность, как своего, преданного человека. И он так размечтался, что совершенно забыл о суровой действительности. Ведь Пронырина обвиняли в шпионаже. Жернов с трудом пришёл в себя, охваченный неопишущей в связи с этим досадой. Потом его всё чаще одолевало отчаяние и страх: а что, если станут перетряхивать всё окружение бывшего секретаря, когда новый секретарь райкома Разбоев соберёт на своё первое совещание всех членов райкома? Если, как говорят люди, перетряхнули весь крайком, горкомы, райкомы, словно краплёную колоду карт, то недолго добраться и до него, Жернова. Он больше всего опасался, чтобы не копнули его личное дело, к которому могло быть приобщено его письмо на имя Пронырина, в котором он доносил на тогдашнего председателя колхоза Сапунова. И как он стал этого опасаться, вся любовь к своему благодетелю мигом исчезла, и его мучил один вопрос: уничтожил ли Пронырин столь ценный для него, Жернова, документ? Если нет, тогда рано или поздно он всплывёт наружу! И тогда ему не увернуться от неминуемого ответа, и его тайна разгласится и станет достоянием всех. Но вместе с тем, чутьё Жернову подсказывало, что это может никогда не произойдёт. Да и зачем новому секретарю райкома брать на себя лишнюю ответственность за какого-то там доносчика? Хотя кто знает, что все документы Пронырина не попали в руки НКВД? И до нового секретаря они не дойдут, хотя что может быть страшней НКВД, которое, выходит, имеет власть над всеми? Вот эта догадка пугала и настораживала, похоже, что спасения не было. Хотя ещё неизвестно, как возьмётся править райкомом Разбоев, наверняка станет долго изучать всех, как, например, был произведён в председатели колхоза он, Жернов. Может, начнёт разоблачать подхалимов и нечестивцев разной масти?

Так что складывалась непредсказуемая обстановка, первые признаки которой ещё не обозначились, но уже как бы носились в воздухе. И это кажущееся затишье не предвещало ничего утешительного. Эта неясность начинала его крайне удручать, он всё реже появлялся на нарядах, на току, на полях, а то и воздерживался от поездок в отделения колхоза, находившиеся в городской черте. Он был мрачен, неразговорчив, стоило кому-либо попасться под горячую руку, как он начинал раздражённо отчитывать, дескать, почему лоботрясничают. Староумова он отослал в контору, чтобы принёс от Марфы всю документацию. И теперь, сидя в амбаре, Жернов проверял, как жена вела учёт трудодней колхозников; он долго рылся в бумагах, считал и пересчитывал. Когда к нему пришла Марфа Никитична, предложив просмотреть составленный ею отчёт за квартал, он вдруг накричал на неё:

– Да ты что, сама не можешь себя проверять?! Сколько я буду за тебя работать?

– Тю, Паша, чай, белены объелся, окаянный! – протянула в оторопи, раскрыв широко глаза, Марфа. – А чего тогда подсчитываешь трудодни? Меня проверяешь, али Макара?

– Пошла, стерва, вон! А то я тебя... – и резко взмахнул тяжёлым кулаком.

– Ну, вдарь, я вся перед тобой, зверь! Что на тебя нашло?

Он опустил руку и в душе пожалел, что не в силах поведать жене все свои душевные муки последнего времени. А если нельзя Марфе, то кому тогда можно, неужели такого человека нет? Даже тому же Староумову он боялся пожаловаться на своё крайне гнетущее, критическое положение, словно ненароком угодил в невидимые пыточные тиски, сжимавшие все его внутренности.

Марфе он велел позвать кладовщика и та быстро ушла, он бросил считать, понимая, что теперь это не нужное, бесполезное для него занятие и просто сидел, тупо уставясь перед собой, не услышав даже, как вошёл кладовщик. Впрочем, тот мог входить бесшумно и тихо подсел к нему сбоку тесового стола...

– И что же мы будем делать без него? – посетовал перед кладовщиком об аресте Пронырина, да и то как бы вынужденно, только бы не привлечь внимание проницательного Староумова к тем переживаниям, которые охватили всё его существо с момента известия о снятии с поста районного головы.

– Не бреди свою душу, притрёмся и к новому хозяину...

Слова кладовщика действовали отрезвляюще, он решительно взял себя в руки, нечего напрасно стенать, может, всё обернётся не так плохо, как он себе навообразил? Но его волновало теперь другое:

– Как ты думаешь, Ваня, не вздумают ли перетряхивать колхозное руководство? – спросил Жернов. – А если прознают, что у нас бытуют факты краж зерна и кормов, тогда мне и тебе каюк и не сносить нам головы! Надо поторопиться вывести воров на чистую воду. Признаться, я закрывал на это глаза, думал, если горсть какую кто берёт – не беда, а если подумать, сколько наберётся за сезон? В наше время делать вид, что воровства нет, крайне неразумно. А постановления правительства самых суровых людей не пугают или думают – им всё простят?

– По-крупному у нас никто не ворует, поэтому ловить, Паша, по существу, и некого, – Староумов лукаво усмехнулся.

– Вот и я так думаю. Но в районе у «новой метлы», поди, свой особый взгляд на положение дел в колхозах. Наше мнение ему не навяжешь, им подавай расхитителей да вредителей. И эту кампанию надо обеспечить немедленно, есть ли кто на присмотре – тащи ко мне! Рубашкин, оказывается, бывший особист, уволен по состоянию здоровья. И сей факт мне душу выедаёт. А ежели он наметанным глазом всё увидит, что тут мы делаем и Соловьёву накапает?

– Да, верно, Паша, надо о себе беспокоиться, а то не ровен час могут тряхнуть. Рубашкин далеко, нужно ему заниматься ловлей расхитителей, небось, отдыхает на новой работе. А мы их ему представляй, как выскочки! И до нас ли там, коли летят такие головы, как Ягода, Бухарин, Каменев, Зиновьев, а у нас вот Пронырин? Это ему наказание за допущенные ошибки в отношении Семакина, Сапунова, деда Пипки. Видать, разобрались наверху, что люди были хорошие, а схватили по малейшей оплошности. Вот Ягода сколько людей зря загубил, партия живо разобралась, теперь настал черёд перегибщиков...

– Откуда ты это всё знаешь? – изумился не без подозрения Жернов, вглядываясь в кладовщика с холодком внутреннего страха.

– Да так вот пришло само, Паша, сидел ночью в каморке курил, раскладывая мыслишки, почерпнутые из газеток... – нехотя молвил кладовщик.

* * *

...Прошло время; в районе Жернова не беспокоил, он аккуратно отчитывался новому секретарю Разбоеву и страх несколько улёгся от сознания того, что начальство пока к нему не проявляло особого интереса. Но разговор со Староумовым не забывался и вызывал у председателя острое недовольство. Почему тогда перед кладовщиком, оказавшимся прозорливей, его, Жернова, он повёл себя так малодушно? Конечно, тот находил время на чтение газет, дававших ему как бы второе зрение, и Староумов почти угадал, какие события грянут в ближайшее время..

Как бы там ни было, кладовщик потаскивал зерно не только по сговору с ним, председателем, но и втайне от него. В своё время он предоставил тому большие возможности. И в тот раз в разговоре он впервые заговорил о воровстве зерна вслух, причём сказал Староумову прямо, что больше кого-либо зерно растаскивает он, кладовщик. И если в районе узнают это, то в первую очередь понесёт кару он, Жернов. Поэтому нечего наглеть; в ночное время пока ни шагу с тока. И когда Староумов начал его обвинения опровергать, Жернов попросил кладовщика не отпираться; лучше бы позаботился о пресечении тайных воров...

Через несколько дней, как было выше сказано, Староумов поднёсся к Жернову с радостной вестью, дескать, ему достоверно известно, что из-под амбара утекает на сторону колхозное зерно! Под его днищем прорублено отверстие, забитое деревянным чокотом. И оставалось только подкараулить и накрыть воров с поличным! Это мероприятие, естественно, Староумов возложил на себя.

Жернову ничего другого не оставалось, как принять к сведению полученное от сторожа сообщение и ожидать результата его ночной облавы. Впрочем, тогда же он ещё пожалел, что не снабдил сторожа нарядом милиции. Но об этом он вспомнит значительно позже, а тогда он не преминул усомниться в сказанном Староумовым, и мысленно сказал кладовщику: «Эх, Ваня, ну и хитёр же ты, брат, на кого-то указывать ты мастер, а в действительности никого не поймал. Хочешь сбить меня с толку с единственной целью, чтобы я не догадывался о проделанном тобой к своему подворью золотому ручейку? Так что тебя надо проверить в первую очередь, сколько за ночь шастаешь домой с аклунком на плече?»

Глава 15

Летняя звёздная ночь окутывала обширный колхозный двор с его многочисленными хозяйственными и служебными постройками. В разных базах стукали копытами о дощатые перегородки то лошади, то быки; взмывали коровы, похрюкивали свиньи; и среди них попискивали крысы. В дежурном помещении в маленькой оконце жёлтым мутноватым облачком светилась керосиновая лампа...

Такие же, не столь яркие огоньки, а то были видны и вовсе тусклые, из раскинувшегося по обе стороны балки посёлка. На поляне всюду горел костёр, была слышна гармошка, звонкие поющие голоса девчат; но из-за отдалённости поляны до скотного база они доносились несколько приглушённо. К полночи костёр там уже затухал, умолкала и гармошка; молодёжь разбредалась по хатам то парами, то в одиночку; в ночи еле слышно звучала грустная песня. В посёлке огни тоже угасали, хаты погружались в кромешную темень. Лишь несколько огоньков то там, то тут ещё горели слабо-слабо.

И лишь на току, под элеватором, ярче всех горел фонарь, как путеводная в степи звезда, освещая зернохранилище, машины, вспученные кучи зерна под открытым небом. И возле МТС негромко постукивал движок дизельной электростанции.

Афанасий Мошев только что вышел из своей каморки, чтобы в очередной раз обойти скотный баз. Он на ходу курил самокрутку, прикрывая её заскорузлой ладонью после каждой затяжки. В тёмно-синем небе зазывно перемигивалось сонмище крупных и мелких звёзд, словно рассыпанных по иссиня-чёрному сукну узорами жемчужного бисера. Некоторые звёзды сияли, как грани отполированного алмаза или бриллианта, излучавшего характерные для него оттенки...

Афанасий с ненасытной первобытной жадностью втягивал в себя едучий горький дым сигарки, от которой иногда отскакивали малиновые искорки и тут же гасли. И он сердился на них, раздувал ноздри, так как эти рукотворные звёздочки могли его выдать Староумову, сторожившему на току. Ведь со стороны тока колхозный двор просматривался из конца в конец как на ладони. Поэтому малейшая искорка могла привлечь к себе внимание зоркого сторожа, которого надо было усмотреть, когда он чёрной тенью проплывёт в ночи домой, унося на горбу мешок с зерном.

Вот уже который год Староумов, совмещавший кладовщика и сторожа, нёс свою очередную вахту. А для Мошева такой сосед по службе был крайне неудобен, зато его подменщик Роман Климов в этом отношении подходил больше, который так не мнил из себя колхозного хозяина, как это почти открыто показывал Староумов. Всякий раз при мысли о кладовщике у Афанасия злобно сверкали глаза, люто ненавидевшего его в должностях сторожа и кладовщика. Впрочем, к Жернову отношение Мошева тоже было ничуть не лучше. Однако во избежание скандалов и нежелательных стычек он стоически терпел и того и другого, как своих злейших недругов. Во-первых, Мошев не раз видел ночные вояжи сторожа домой с аклунком на плече. Во-вторых, такая ненаказуемая смелость кладовщика объяснялась известной дружбой с председателем, который, правда, не очень афишировал свои особые отношения со Ста-

роумовым. И, зная это, у Мощева взыграла, непреоборимая зависть к Староумову, так удачно пользовавшемуся служебным положением в свою пользу. А почему, собственно, ему самому не делать то же самое? И в случае чего, пусть только попробует пикнуть Староумов на него, как тотчас будет разоблачён...

Афанасий, ряболицый, ещё нестарый мужик, не знал точно, сколько теперь было времени, течение которого, впрочем, он угадывал чутьём. Но стоило ему немного прикорннуть или выпить, как он начинал путаться, не улавливая чутьём своего внутреннего ритма; и сколько можно было ещё валяться на топчане, чтобы потом выйти из каморки и выследить, наконец, сторожа да накрыть его с поличным. Но это надо было сделать с самого начала, как он узнал о ночном промысле Староумова. А теперь прошло несколько лет, хотя застукать никогда не поздно. А тогда ему самому захотелось найти лазейку к колхозному достоянию. Своим примером Староумов как бы вдохновил Мощева, склонного к воровству, а дурной пример всегда заразителен. Однако сторож, наверное, чувствовал его тайное присутствие, ведь он же знал, кто ночью дежурит на скотне? Поэтому, топя домой с грузом на плече, он часто останавливался, прислушивался, озирался вокруг себя в пространство тёмной ночи. И в следующий раз этой дорогой Староумов уже не шёл или менял время своего следования, чтобы не рисковать и соблюдать чрезвычайную осторожность. Неся на горбу ворованное зерно, у него наверняка обострялся инстинкт, что Мощеву было не так просто точно угадать, в какое время ночи он уходил домой. Но чутьё Афанасию всё-таки подсказывало, что свои рейды кладовщик наверняка совершал глубокой ночью, когда посёлок был погружён в непробудный сон. Да и сам он, Мощев, ощущал себя пока в совершенной безопасности именно в эти часы, И, наверное, одному только Богу известно, почему до сих пор они со Староумовым не столкнулись на одной воровской тропке. Хотя об этом раньше почему-то Мощев и не задумывался, впрочем, потому и не задумывался, так как полагал, что зерно потихоньку потягивали из колхозных закромов некоторые проворные колхозники даже днём. Хоть понемногу, но всё равно тащили, набивали им свои нарочито объёмные карманы... Но, правда, не имели привычки говорить об этом вслух, к чему поневоле принуждала хозяйская необходимость, а то и прежняя боязнь голода. Ведь люди всё чаще обзаводились своими курами, утками, которых чем-то надо было кормить. Вдобавок на одни трудодни без подсобного хозяйства прожить никак нельзя. Причём часть зерна, полученного на трудодни, некоторые люди умудрялись продать на рынке, чтобы на вырученные деньги покупать хозяйственные и продовольственные товары, поскольку иного способа иметь деньги, по сути, у людей не имелось. Вот эта страсть к деньгам и наживе, вытекавшая исключительно из потребностей жизни, порой и толкала людей на такое обыденное воровство, которое как за таковое ими уже даже не признавалось. Ведь это зерно они сами сеяли, растили, убирали, а колхозу не будет никакого убытка, поставки государству по хлебу выполняют и даже перевыполняют, так чего ещё надо? А если слышали о хищениях, за которые людей лишали свободы, то считали – это могло случиться лишь с теми, кто воровал помногу, тогда как им за горсть-другую зерна ничего не будет, причём никто не думал, что этим самым они мучили Жернова, и в его сознании складывались в пуды и центнеры...

Но если эти несколько горстей других людей вполне устраивали, то Мощева и иже с ним они только раздражали, пробуждая у них алчность с каждым новым аклунком кладовщика и сторожа в одном лице. Вот поэтому его охватывало неудержимое нетерпение, переполнявшее всё его существо, как можно быстрее заработать на зерне много денег. И толкало, толкало на опасный промысел, сопряжённый с большим риском даже в те ночи, когда на скотне дежурил Мартын Кораблёв, на току Роман Климов, а на конюшне – Пантелей Костылёв.

И вот теперь, идя, наконец, в засаду на Староумова, Мощев на всякий случай прихватил мешок, с которым, видно, не мог уже расстаться. В ночной темноте он уже хорошо навыв, различая и пустырь, и дорогу. Над головой в иссиня-чёрном небе дружно сияли звёзды, в траве звенели сверчки и цикады и потрескивали цикады. Мощев свернул с дороги и пошёл напрям-

мик, при этом ступал довольно осторожно по волглой за ночь земле, под ногами влажно шуршали полынь и спорыш. А заросли густой конопли кое-где темнели на подступах к току, по направлению которого он напрягал своё острое зрение, правда, только правый глаз с бельмом видел плохо, но он различал как то слева, то справа призрачно, контурно чернели, фермы, сараи, кузня, амбары, колхозная контора. А на току горел одиноко фонарь, с каким-то тоскливым, немощным свечением силился одолеть аспидно-синюшный ночной ступок мрака, истекавшего на землю, казалось, из-под небесного купола с самых кончиков острых лучей звёзд. Но усилия фонаря были настолько тщетны, слабы, отчего темень чёрными клоками облаков нависала над небольшим освещённым им пространством, казавшимся, по сравнению с бездной ночи, жалко мизерным.

Наконец Мощев поравнялся с амбарами, стоявшими казалось, с таким дружным, зазывным величием, так манившими к себе с неодолимым упорством, как понравившаяся после одной ночи любви баба, что он вдруг с дуру повернул к ним. Возле амбаров, как и всюду, было очень тихо, лёгкий ночной ветерок доносил с тока ни с чем не сравнимые запахи хлеба, иногда перебиваемые запахами горючего, шедшего от МТС. Однако хлеб пах так сладко и ароматно, что Мощев, прикипевший к нему всем сердцем, почувствовал в душе алчное влечение, подтолкнувшее его немедленно наполнить зерном мешок. И будь он неладен и проклят этот Староумов, зачем его надо ловить с каким-то перестраховочным умыслом? А не лучше ли просто подойти к нему и без обвиняков сказать о его воровском промысле и держать гада этим самым в узде, как своего соучастника и подельника. Вот такие мысли возникли в голове скотника.

И тем не менее Мощев решил сначала подойти поближе к току, чтобы высмотреть сторожа издали, который мог там где-то околачиваться. Хотя к амбарам он наверняка тоже навевается, об этом говорили чьи-то следы, хорошо видные в лунные ночи. А ведь не исключено, что он мог вполне его выследить, если только сумел разгадать способ, каким уплывает из амбара зерно?

Но на току сторожа, кажется, не было: ни на элеваторе, ни около весовой, ни около каменного длинного, как тоннель, зернохранилища. От единственного фонаря свет и вблизи рассеивался по всему току неравномерно, а к его окраинам он еле доходил, даже не светил, а лишь как-то бледно мерцал. От построек падали еле видимые тени. В помещении весовой тускло светила керосиновая лампа, пламе которой было наполовину убавлено. А это скорее всего означало, что Староумов уже потащил домой зерно, от сознания чего Мощева охватила сильная досада: «Эхма, снова проморгал сторожа, не выследил!» И следом возникла мысль, а так ли нужно его ловить, коли он, Мощев, сам по ночам повадился промыслять, как разбойник? Хотя его вылазки начались с того момента, как в амбары снова стали засыпать семенное зерно. Но навряд ли кто догадывается о его ночном промысле. Он добывает товар, а Демид Ермилов сбывает его в городе надёжному человеку, но только не на рынке, так как туда было соваться крайне рискованно.

Вырученные деньги от продажи зерна мужики делили строго пополам, правда, Пантелею Костылёву от них перепала бутылка горилки за предоставление в ночное время лошадей, что случалось, однако, нечасто. Хорошо они поживились два года назад, когда уродился рекордный за всё время существования колхоза, урожай!

Мощев отлично понимал, что воровство, или, как оно называлось, хищение, по существовавшему в то время закону рассматривалось, как уголовно наказуемое злостное деяние, наносившее колхозу вред. Собственно, как ни странно, оно зависело не от количества и веса унесённого колхозного добра, а от самого факта преступления. Так что, один и тот же срок можно было получить в равной мере как за горсть зерна и несколько колосков, так и за мешок – десять лет лагерей. Вот поэтому Мощев шёл сознательно на больший фактор риска, следуя известному присловию: если воровать, так миллион, если любить, так королеву...

Глава 16

С Демидом Ермиловым Афанасий Мощев не состоял даже в дальнем родстве. Хотя за последнее время относились друг к другу, как близкие сродники, что бросалось людям в глаза, словно диво и даже вызывало зависть. Впрочем, они были земляками, приехавшими в 1935 году из Белгородской области, где жили в своё время в деревнях разных, но соседних районов. Но после переезда на чужбину, обитая в одной на две семьи землянке, они довольно быстро подружились. Домна Ермилова и Натаха Мощева, обе ладные на вид и по-бабы суесловистые, найдя о чём судачить, сошлись весьма быстро.

Собственно, у них нашлось и общее занятие – обе любили шить себе наряды, и тогда возле двух женщин крутилась Алина, у неё рано проявился интерес к искусству модисток, а со временем переняла его от матери почти полностью.

Мужики обычно сходились поиграть в карты, пили самогон и курили самосад. Это было зимними вечерами, а с приходом весны, они приступили к строительству хат, помогая в этом друг другу, как свояки. И к осени их новые хаты уже стояли, сияя свежей побелкой, правда, по обе стороны балки. Чего не построились рядом, потом этому казусу оба удивлялись, а жёны обзывали своих мужей забитыми чумаками.

Алина Ермилова, тогда ещё совсем девчонка, однако, как-то странновато направляла на Афанасия свои плутовато-зеленоватые глаза, когда ещё жили в землянке.

Потом расселились по своим хатам, но с этим весьма важным для них событием их дружба вовсе не распалась. Бабы ходили друг к другу через балку, а мужики встречались после работы за выпивкой. И потом стали понемногу обживать на своих ещё слабеньких и скудных подворьях.

Демид с самого начала работал кузнецом, Афанасий сперва был пастухом, плотничал, а после осел на скотне. Тогда как их жёны – доярками.

У Мощевых детей не было, жена Афанасия Натаха ещё на родине, будучи беременной, упала с полатей в риге. И после выкидыша она больше понести не сумела, о чём кручинилась и печалилась, чувствуя перед Афанасием неистребимую вину, который, если когда и был с ней в обращении груб, то рукоприкладством не занимался.

Зато у Демида Ермилова и его чудаковатой жены Домны была всего единственная, но шалопутная, а оттого не управляемая дочь Алина, из-за которой в последнее время её родители часто ссорились. Причём она не ходила на молодёжные вечёрки на поляну, к строящемуся клубу. По её словам, ей там было неинтересно, а к пению и танцам Алина относилась весьма прохладно, как впрочем, и к учению в школе, в своё время тоже оставив школу с шестого класса. Она рано почувствовала себя взрослой девушкой, много времени проводила перед зеркалом, была недурна собой. Алина вела себя довольно прилично, могла поговорить и посмеяться, как невинное чистое дитя. В последнюю весну она почему-то стала сторониться подруг, как-то незаметно отошла от них, начав путаться с трактористами из МТС, прикомандированными из станицы Грушевской и жившими втроём в землянке-общегитии. За весну и лето Алина успела переспать со всеми, при этом наивно думая, что никто из них не знал о её грехе с товарищами.

Работала же Алина в полевой бригаде, и все бабы, во главе с Екатериной Зябликовой, с немалым любопытством и укором присматривались к ней, покачивая несколько возмущённо головами и ничего между собой не говорили, думая при этом о своих дочерях. Алина тоже никому не отвечала ни взглядом, ни словом, стараясь между тем, как ни в чём ни бывало, выглядеть покладистой и негордой девушкой, что, собственно, соответствовало её характеру. И от этого производила впечатление немного угловатой, замкнутой, хотя иногда на весёлые

речи баб реагировала непринуждённо, но с какой-то глуповатой улыбкой, словно её это вовсе не касалось.

– Какая у нас Алина бедовая, всех чужих ребят отшила от наших девок! – подтрунивали над девушкой бабы.

– А пускай не танцуют! – смеялась Алина, сверкая белыми зубами. – С нашими сморчками – мне одна смертная скука.

Алина и впрямь за собой не чувствовала абсолютно никакой вины. Собственно говоря, девушка умудрялась вести себя так раскованно, будто в её вольном поведении с молодыми мужчинами и парнями ничего плохого не было. Её по-калмыцки широкое лицо, с маленькими, слегка раскосыми зеленоватыми глазами, было простым, с совершенно бесхитростным взглядом, говорившем о слабовольном, но гибком характере. Она со всеми довольно легко вступала в общение, правда, только с бабами вела себя с робкой сдержанностью. Но если они её задевали, она всегда находила, что им ответить. На заигрывания мужиков отвечала кокетливой улыбкой, наивно предвосхищаясь началом сближения. Это происходило оттого, что перед ними она невольно теряла твёрдость духа, психологически раскрепощалась, легко соглашаясь на предложенное за посёлком свидание. Но давая согласие, Алина не подозревала, что имела существенный недостаток – безоглядно доверяться пустым обещаниям своих очередных кавалеров, добивавшихся от неё взамен на их верность обязательной близости. Впрочем, как всякая ошибающаяся в мужчинах женщина, Алина про себя, а то и вслух, гордилась своими успехами у парней, наивно полагая, что им нравится её целовать, обнимать и ласкать её молодое и упругое тело, легко откликающееся и отвечающее взаимной любовью, будто она была самая лучшая и больше ни одна не способна с ней соперничать, так как парням с другими находиться было скучно. Но, к сожалению, в силу своего недалёкого ума, она даже не догадывалась, что весь успех у мужчин заключался всего лишь в её дурашливой податливости, на что способны только девушки лёгкого поведения. Хотя надо было учесть особенность её взбалмошной натуры, что Алина любила мужчин исключительно за доставляемые ей плотские удовольствия, без чего она уже не могла нормально существовать, особенно после вынужденного воздержания. Конечно, об этом она ни с кем не делилась, поскольку у неё подруг не было с тех пор, как вкусила первую близость с одним из солдат, стоявших одно время в гребле в полуверсте от посёлка...

Когда-то с Зиной Половинкиной Алина училась в одном классе, но их ученье прервалось не в один год. Если Зина окончила семилетку, то Алина оставила школу ещё в шестом классе, уже тогда считая себя взрослой барышней, пошла работать в полевую бригаду наравне с матерью, перешедшей из доярок в огородную. Однако вскоре Алина стала работать на посевной прицепницей, начав бойко завлекать молодых трактористов... И потом всё произошло как бы само собой, и Алина вступила на раннюю любовную стезю, на которую в то время многие девушки до свадьбы остерегались вступать. Но Алина в своих представлениях о девичьей чести была настолько ограничена, что этих представлений у неё не было. А иначе она бы сообразила, насколько быстро по посёлку о ней распространилась дурная слава. А когда почувствовала, что все её осуждают, она даже ничуть не расстроилась, наивно полагая, будто девушки ей завидуют, и от этого ложного понимания у неё даже за себя возникала гордость. А её бывшие подруги Зоя Климова и Зина Половинкина от Алины вскоре почти одновременно отвернулись, чтобы она на них не бросала дурную тень. Казалось, это обстоятельство должно было заставить Алину хоть немного задуматься и спохватиться, что ранним растлением она непоправимо исковеркала свою женскую долю и может уже не мечтать о замужестве. Алина же наоборот почему-то считала себя самой счастливой, обогнавшей своих ровесниц, почти полностью познавшей женскую долю. И от этого она даже стала взирать на своих товарок сверху вниз, несколько не удивляясь, что девушки и помоложе, и постарше обходили её стороной как прокажённую. Хотя перед ней открыто они это вовсе не выказывали, просто перестали её признавать, избегая

её общества. И опять-таки, Алина даже в этом случае не догадывалась, что ей вовсе не завидовали, а презирали...

Когда её мать Домна, со слов охотливых до сплетен баб узнала о позоре дочери, она сначала не поверила, мол, нечего попусту бить тревогу, чего люди не придумают, ведь её Алина наряжалась, пожалуй, лучше всех девчат! Но когда стало известно, что Алина часто меняла кавалеров, вот тогда Домна сама уже замечала в поведении дочери склонность к кокетству и в её повадках угадывалось нечто такое, что выдавало то откровенное, что указывало на приобретённый женский опыт, познавшей мужскую любовь, что и подсказывало Домке о плотских утехах дочери, потерявшей стыд, что уже не ведала никакого приличия. И вот она однажды стала у дочери со страхом в глазах допытываться:

– Так что, Алина, значит, правду люди бают, что ты, стерва, вконец рассупонилась, с мужиками срам творишь? Да кто тебя после такую замуж возьмёт, ославилась, что дальше некуда!

– А ничего, маманя, много зря шуму не подымай, всё равно какой-нибудь дурачок повернётся, – легко ответила Алина, томно прикрывая длинными ресницами зеленоватые глаза, и слащаво улыбаясь.

– Да у тебя совсем ума нету? – в оторопи протянула мать. – Что же ты их так быстро от себя отпускаешь?

– А откуда это видно, маманя, кто такую околесицу обо мне нагородил? Я никуда их не отпускаю. Если им надо, так они сами уходят, мне больно много мороки, чтобы их удерживать. Когда соскучатся, тогда и приходят! И мне хорошо и им тоже, – и Алина несколько деланно хихикнула, мечтательно устремив мимо неё глаза.

– И что ты такое несёшь, бесстыжая?! Замуж-то хоть один предлагал? – выкрикнула Домна, а дочери будто того и надо было, то есть подразнить мать, которая, бывало, при ней с Натахой Мощевой распивали самогон и о мужиках говорили непристойно. От кого ж ей было хорошие примеры перенимать...

– Бывали случаи, маманя, но дело в том, что я их ещё не всех раскушала. С первого раза, поди, попробуй угадай, на что они способны, и приходится встречаться повторно...

– Опять ты своё, бесстыжая, как со мной ты разговариваешь? Вон и девки уже от тебя шарахаются. Небось, матки им с тобой знаться не велят?

– Ой, маманя, не смеши, они не знают как и о чём со мной разговаривать, потому что ещё тёлки! А мне не больно хочется с детьми водиться. Бегать на их сопливые пляски, какой прок, маманя? – со смешком, жеманно поводя плечами, спросила дочь.

«Боже ты поглянь, как нынче молодёжь изменилась? Разве я такой была срамной, – думала про себя Домна. – Мне самой не всегда бывает сладко с Демидом. Да и приедается, как горькая редька, сама бы, кажется, сменила, коли бы какой другой нашёлся. Но при живом муже какая же баба решится на блуд?» Но Домна не стала себе признаваться, что любовные утехи дочери вызывали в её душе зависть. Вот поэтому на последние слова дочери она как-то загадочно улыбнулась, и её глаза блеснули, тая в себе невысказанную женскую печаль о сокровенном, далеко запрятанном в сердце... Хотя вспоминала, как с Жерновым заигрывала, и откуда что бралось. Павел Ефимович тогда не устоял и порывисто обнял, быстро поцеловал, а она со смехом его оттолкнула и грубо бросила: «И, чёрт, нашёл время баловать!» А потом в сумерках (она на ферме несла дежурство) заманил её в амбар, будто зерно для сева подобрать...

И теперь она понимала, что Алину уже никакими запретами не остановишь, не направишь на верный путь. Однако Домна чувствовала, что всё равно надо принимать какое-то решение. Но какое именно – она точно не знала...

Через несколько дней, после разговора с дочерью, Домне пришлось защищать её перед супругом Демидом, прознавшем о её беспутстве. А ведь к Алине он испытывал глубоко запрятанную любовь, так как она всеми чертами лица была похожа на него. И вдруг к нему дошёл

обежавший всю их округу, слух о распутстве Алины! Она опозорила его имя, путаясь с приезжими трактористами, из-за которых к молодёжи на поляну с весны не ходила.

– Домна, ты почему это скрывала от меня, почему не оказывала на неё никакого воздействия?

– Отцепись репей колючий, Демидушка, ты больше сплетни слухай, – в притворном испуге взмахнула руками Домна. – О чём баешь? Дак нешто я должна верить людским выдумкам? Одни подлые кривотолки! Неужели Алина конченная дура, чтобы так вести себя перед парнями, как шлюха, просто наша дочь большая озорница!

– Какая «озорница»? Ты всё давно знала, а мне – ни слова? Думала я такой же вахлак, как ты, стучу молотком в кузне и от своего звона ничего не услышу?

– А тебе только скажи, так враз всё примешь за чистую монету, потому что сплетням я не придаю никакого значения. Ты и мне никогда не верил! И сейчас продолжаешь ревновать к столбу. Ну, дружит она с парнем, может, где-то неосторожно поцеловались, так что теперь – караул кричать?

– Из-за этого зря не скажут. Ждать пока в подоле принесёт? И что это людям попусту брехать, а меня при встречах с ними стыд пронимает...

– Это тебе-то стыдно, мой батюшка? – злорадно усмехнулась Домна. – Кому ты хочешь заморочить голову?... – дурашливо засмеялась Домна. – Сам-то ты разве не грешен, а у Алины весь характер твой! Вот и пеняй на себя...

– А по-твоему я ей не отец, что ли? – страшно воззрился он на жену. – У тебя самой в голове не мозги, а ветер свистит, как у беспутной бабы. Кто мне голову морочил, так это ты, зануда! Всё чепуришься, как девка уличная! Алина с тебя пример берёт, а меня она не видит. А ты перед Жерновым тоже хвостом крутишь...

– А что мне грязнухой ходить, дурачок, Демидушка, никак не поймешь! В этом вся и честь бабе! – просияла глазами она, уставясь с издевательской улыбкой на мужа.

– Да то и вижу, как Алина повторяет твои повадки, стервозница она. Вот я ей всыплю разок ремня!

– А хорошие не грех перенять, – насмешливо и жеманно подхватила Домна.

– Зато в её крови много твоей дурной крови, – уже не зная как зацепить жену продолжал Демид. – Сейчас смажу по зубам, тогда поперечишь мне! – замахнулся, сверкая глазами, Демид.

– Моя не дурней твоей, пёс, ты, поганый! Я же тебе не монашка навроде Серафимы, которая не расстаётся с черной юбкой, будто у неё по кому-то вечный траур. Свекровь у неё умерла два года назад, она и тогда носила и, поди, ходит, как монашка, слова не услышишь.

– Вот и хорошо, бери с ней пример, меньше сплетни будешь разносить. И ещё бы Бога больше почитали, чем кроить да шить.

– Кто? Это я разношу сплетни? На себя обернись, Демидушка, о тебе да Мощеве люди промеж себя стали судачить нехорошо...

– А ты бы сама меньше языком трепала! Чего взяла моду по задворками шляться? Тогда лучше бы шила, – примирительно ответил Демид. Конечно, о своём воровском промысле с женой он не делился. Упаси Бог! Однако Домна сама догадывалась, что муж работает с риском для себя, откуда у него берутся деньги на отрезки материй? Привозил из города и говорил, что дочери на приданное. И Домна безоглядно мужу верила: «Не иначе как сковал какую железку и на рынке втихорях продал, ведь бабы к нему бывало шли тяпки направлять, наварить черенкодержатель», – думала она. И от догадки, что иначе быть не могло, Домна бледнела и сгорала от ревности и злости; но допытываться – чем ему они платили: натурой или деньгами – она побаивалась.

Тем не менее слова жены в душе Демида поразили. Неужели народ и впрямь что-то пронюхал? Ведь Мощев проболтаться никак не мог. Он осторожен и хитёр, как лис, и коварен, как волк!

– Выкладывай, кому про отрезы бахвалилась, Домна? – налетел он снова. Теперь позор дочери его больше не волновал, тут беда с другого бока крадётся, надо предупредить её.

– Что я, совсем из ума выжила? – испугалась жена. – Ну дак похвастали, так, чай, нельзя. Бабы, поди, ещё похлеще чешут о себе языками, – оправдывалась Домна, отойдя от страха.

– А ты от Катьки Зябликовой хоть одно лишнее словцо слыжала? Она только внимает таким дурам, навроде тебя!

– И чего хорошего ходить надутой индюшкой? Нашёл с кем сравнивать, и нечего меня душой погонять, пёс шелудивый, вот ты кто!

– Так кому ты про отрезы проболталась? – не отставал, сверкая глазами Демид.

– Кому-кому, да Пелагее Климовой! Так она навроде Катьки – непередатливая. А ещё... – она стала усиленно припоминать. – Марье Овечкиной да Антонине Кораблёвой, а им чего нельзя?

– А что они лыком шиты, бабы есть бабы! – взревел Демид. – Вот кажись, ясно, Марья ходит к Польке Староумовой. А кладовщик – это такая гнида, сам гребёт мешками, а другого на лопатки придавит, чтоб только ему больше досталось. Это ты помни, Домна... А чего к Ульяне Половинкиной шастаешь? Она чихать на тебя хотела! Скоро Давыда женит на своей Зинке... Камень рушат в карьере. Хату Семён ставить удумал, намерен его с сыном видеть в каменке. А наша осрамилась, я ей ноги повывёртываю, чтобы по ночам не блудила. С Кузьмой Ёлкиным когда-то таскалась, а он плюнул на неё да к Соньке Чесановой переметнулся. Трёп идёт, что её с ребёнком сватать будет. Вот тебе и Сонька! За два года – две свадьбы!

– Я это давно знаю и без тебя. Ничего, наша тоже отхватит, она, поди, не уродина! А нет, так сами найдём, например, городского. Ты бы её с собой брал на рынок, она тебе всех покупателей привлечёт!

– Ну, довольно, ещё в городе распутством не хватало заниматься, – пробубнил Демид, сворачивая сигарку. – А я дурак, Семёну в шутку Алину Давыду сватал, и что они обо мне подумали, ведь я ещё ничего про дочь не ведал? – и он снова задумался, посмотрел в сумеречное окно. – Где её вот доселе черти носят? – затем перевёл глаза на ходики, хотя времени ещё было не столь много...

Глава 17

После разговора с женой Демид несколько раз собирался как следует оттаскать дочь за косы. Но каждый раз, как только он с ней оставался наедине, когда Домна в огороде полола картошку, то вмиг злость пропадала, и на отца набегало тупое спокойствие. Неужели Алина так умела воздействовать на него своей юной красотой, что он как мальчишка терялся, глядел на дочь и не находил в ней то, за что вынынчивал в себе обиду. Тем не менее он всё ещё считал себя оскорблённым слухами о порочности дочери. Хотя Демид на ней не видел следов её распутства. Собственно, Алина уже в тринадцать лет выглядела довольно статной и гибкой в талии, вполне взрослой девкой. А когда промелькнуло четыре года, она походила подавно на уверенную в себе бабу. Глаза зеленоватые, блескучие, как манящие в ночи звёздочки; в её зрачках так и пульсировала страстная энергия, словно что-то в них прыгало, как бесенята. И этим даром она научилась привораживать к себе кавалеров, которым того и надо было. Но при отце Алина отводила игривые глаза в сторону, усердно занимаясь шитьём своих нарядов из привезённых отцом отрезков. И было видно, как она заметно тушевалась, наверное, предчувствуя, как бы отец не начал донимать её расспросами о кавалерах...

Что ни говорить, а жилка к хозяйственности и сноровка к шитью у дочери имелась. Она любила перешивать и перелицовывать старые платья и блузки, юбки и кофточки. Бесконечно комбинировала разные тона, сочетала разные ткани и в конце концов из-под рук мастерицы выходил совершенно новый фасон.

Покуривая у окна сигарку, Демид даже невольно залюбовался, как Алина ловко орудовала ножницами по материи. Ох, как сильно у неё было стремление красиво одеваться! Работает-то умело, а на улице вон что вытворяет! Вот так же в кузне и он, из бесформенной железки, может выковать что угодно. И только на прихоти баб у него нет времени...

Наверное, ни одна девушка в посёлке не одевалась так броско и крикливо, с каким блеском это получалось у Алины. Конечно, такому уменью она научилась у матери. Домна втайне гордилась дочерью, что она стала записной мастерицей, а по шитью, пожалуй, даже перещеголяла свою мать. Хотя на людях та иногда открыто бахвалилась Алиной, но когда дурная слава о дочери обежала весь посёлок, старалась о ней молчать. Ко всему прочему, Алина любила не только наряжаться, но и увлекаться не в меру помадами, кремами, жирно подкрашивала чёрным карандашом веки, глаза и брови. И хотя дочь выглядела, как хорошо нарисованная картинка, она всё равно такой Демиду не нравилась. Уж больно приторной казалась. И в кого ей было пойти как не в мать, с которой дочь и брала пример! Домна ещё смолodu была настолько привязчива к косметике, что даже с собой брала помаду, чёрный карандаш. Она так сильно набеляла щёки, что они казались меловыми, неестественными, а потом помадой наводила румянец и выщипывала брови до такой степени, что они превращались в тонкие ниточки, похожие на сгоревшие спички. А губы пунцовели, как шляпка мухомора, что даже было противно на неё смотреть... Он всегда покрикивал на неё за пристрастие к мазне, без конца приструнивал и недовольно ворчал. И вот по стопам матери пошла Алина. Демид порой глядел на дочь и свирепо, с возмущением цедил сквозь зубы;

– Намалевалась, как кукла! Нешто ты не знаешь, что такое бледное лицо бывает у мертвяка, а ты, сама того не ведая, убиваешь весь свой цвет молодочки и свежесть юности. У вас с матерью совсем нет понятия о красоте. Если твоя сурьма мужику не по душе, тогда для кого так вакситься, что только зря кожу губишь...

– Что ты понимаешь, папаня, это изоляция кожи от солнечных ожогов, а губы, чтобы не обветривались...

– Ты это, Алина, того... Значит, меня позоришь, зачем? – выдохнул наконец-то Демид, сейчас он даже сам не ожидал от себя, как у него это получилось.

– Как я могу тебя позорить, ты, папаня, просто выдумал, – грубо бросила Алина, слащаво улыбаясь и глядя на отца притворно, с глупинкой, будто не понимала, о чём шла речь.

И то правда, Алина думала, что отец имел в виду не её славу гулящей, а нечто другое, касающееся его самого и работы.

– Нешто ты такая глупая, что не ведаешь о чём я балакаю? – с запинкой, нервно заговорил отец. – А то мать тебе не говорила? – прибавил недоверчиво он, ревниво наблюдая за дочерью.

– Ну, разве я виновата, что мне не везёт. Хотя я не считаю себя самой несчастной. И нешто может быть правдой то, что будто люди говорят обо мне плохое? В этом я сомневаюсь, вечером меня никто не видел... – говоря об этом Алина, конечно, нагло соврала, так как однажды с Жорой Калейкиным они напали на сторожа Староумова. – Они лучше пушай за своими пигалицами досматривают, а за чужими – каждый может! – резко выпалила она.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.